



Екатерина Мосина

**Дом, который
построил Домовой
(Скучная тётка:
книга 3)**

Екатерина Мосина

**Дом, который построил Домовой
(Скучная тётка: книга 3)**

«Автор»

2026

Мосина Е. А.

Дом, который построил Домовой (Скучная тётка: книга 3) /
Е. А. Мосина — «Автор», 2026

... Всю ночь Августа вела двойную жизнь: глазами впитывала строчки из блокнота брата, а всем существом медиума чувствовала жизнь бункера, которая текла параллельно. Она ощущала, как в комнате Громовых, в сотне метров бетона и стали, Жоржетта, наконец дождавшись редкого тихого вечера, спит, прижавшись к Ерофею Петровичу, и её дыхание — обычно такое стремительное, как у загнанной лошади — ровное и спокойное. Громов, вероятно, видел сон, в котором ловил что-то блестящее на спиннинг. Её Радаслав, её подросток-мудрец, спал, и его сны были окрашены тем же фиолетовым мерцанием, что и «Самоварчик» за стеной. А её Ксенофонт Ксенофонт, наверное, в эту самую минуту дежурил на нижнем уровне, прислушиваясь к гулу трансформаторов, как врач слушает биение сердца пациента. Он оберегал этот сон, этот хрупкий мирок, где можно разговаривать с облаками. И именно это ощущение — невидимой сети доверия, натянутой между ними всеми

© Мосина Е. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	39
-----------------------------------	----

Екатерина Мосина
Дом, который построил Домовой
(Скучная тётка: книга 3)

Трилогия – СКУЧНАЯ ТЁТКА



**КНИГА 3.
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДОМОВОЙ**

**Писатель
Мосина Екатерина Альбертовна**

Глава 1. Исчезновение, начинающееся с носков

Утро в бункере начиналось с тишины, которая звучала слишком громко. Не той благо-словенной тишине, что царит в доме, где спит ребёнок, а тревожной, натянутой – словно сама реальность затаила дыхание перед чихом. Августа Иосифовна, ещё не допив свой утренний иван-чай, уже поняла: сегодня что-то не так.

Их «Самоварчик» будто перестал быть прежним, он будто обрёл «новое прочтение». Он всё ещё святился, писал записки и свечение видели только близкий круг – их команда, Августа и Радаслав всё ещё его чувствовали его мысли и желания... Но их меж-пространственная сущность или сущее из щели меж-мирья стала какой-то иной...

Первой спохватилась Варвара Прокопьевна. Её крик «Носочки-то куда подевались?» прозвучал с такой интонацией, будто речь шла не о паре шерстяных изделий, а о краже ядерных чемоданчиков. Она стояла посреди коридора с одним синим носком в руке, второй её ноги был одет в зелёный – явный признак того, что в мироздании образовалась очередная щель.

– Опять!?! – вздохнул Ерофей Петрович Громов, проходя мимо с папкой, толщиной в добрую детскую энциклопедию. – Третий день подряд. Вчера – чайная ложка, позавчера – устав подводных сил 1987 года из архива. А теперь носки. Что ж. Вполне логично.

Жужжа, она же Жоржетта, выглянула из комнаты связи. Под глазами у неё легли фиолетовые тени, но лицо светилось – на экране планшета копошился Ефимушка, завтракающий манной кашей с художественными разводами из варенья. Няня Екатерина Семёновна, женщина с лицом, напоминавшим добрую сельскую икону, пыталась накормить его с ложечки, но двухлетний стратег предпочитал тактику пальцевой живописи.

– Мама! – ткнул он липким пальцем в камеру. – Каша-а!

Жужжа провела пальцем по экрану, и её губы дрогнули в той особой улыбке, что бывает только у матерей, разлученных с детьми на расстоянии, преодолеваемом лишь сигналом Wi-Fi. Вся она была здесь, в этой работе, в этих сводках, в попытках вычислить призрака по имени Дима. Но сердце – это плотная, тёплая субстанция, оно не умеет телепортироваться. Оно оставалось там, где маленькие руки тянулись к экрану.

Августа смотрела на Жоржетту — и видела не просто коллегу, не просто гениального аналитика, который мог разложить хаос на простые формулы, не просто подругу детства. Она видела женщину, разорванную будто надвое. Женщину, которая каждое утро оставляла своего двухлетнего Ефимушку на попечение няни Екатерины Семёновны — доброй, надёжной, но всё-таки чужой женщины. И каждое свободное мгновение возвращаясь к нему через экран, через голос, через присутствие, которые невозможно передать по вай-фаю. Ерофей Петрович Громов — муж Жоржетты, человек, чьи плечи, казалось, держали не только этот бункер, но и половину логистики южного направления дислокации вооружённых сил России — умел молчать так, что его молчание было громче любых отчётов. Он не роптал. Он просто брал на себя ещё одну смену, ещё один вызов, чтобы Жоржетта могла лишний час посидеть с сыном перед сном. Громов, ныне генерал, который в молодости ловил рыбу на утренней зорьке и мог часами смотреть на поплавок, теперь ловил тишину между сигналами жития-бытия в этом бункере исследования «меж-пространственной щели». И в этом молчании, в этой общей усталости, в этом разделённом дыхании была та самая бесценная дружба, которая скрепляла их команду крепче любого приказа.

Августа знала: Жоржетта любит сына так, как умеют любить только те, кто каждый день рискует не вернуться. Она не говорила об этом вслух — не было ни времени, ни слов. Но когда она смотрела на экран, где Ефимушка размазывал кашу по столу, её лицо становилось про-

зрачным, как лёд на весеннем озере. И в этой прозрачности, в этой хрупкой тишине, Августа, привыкшая чувствовать мир кожей, видела самое главное: любовь, которая держит реальность прочнее любых документов.

Августа, глядя на неё, вспомнила своего Ксенофонта, который сейчас, наверняка, где-то тут вот возится с котлами на электростанции в их бункере, шлёт ей в мессенджер смешные стикеры с котами в касках. Любовь в эпоху всеобщего дисбаланса оказалась странным делом: она существовала в разрывах, в паузах между сводками, в коротких сообщениях, смысл которых был не в словах, а в самом факте существования: «Я здесь. Ты там. Мы есть друг у друга. Мы вместе.».

Августа знала: где-то в лабиринтах бетона и стали, на нижнем уровне, где гул трансформаторов звучал как дыхание огромного спящего зверя, её Ксенофонт — главный инженер, человек, который умел чинить не только генераторы, но и порой сломанные судьбы — прислушивался к ритму бункера. Он был её якорем, её тихой пристанью. Сейчас он, наверное, проверял показатели влажности в кладовых или возился с котлами, но Августа чувствовала его присутствие так же отчётливо, как чувствовала пульс у себя на запястье. Между ними не было слов — только вибрация общего дела, общего мира, общей тишины их исследования меж-пространственной щели в бункере с их командой.

А в комнате Радаслава — их сына-подростка, мальчика, который смотрел на мир с мудростью столетнего старца и любопытством котёнка — горел ночник. Радаслав спал беспокойно: он всегда чувствовал перемены раньше, чем о них сообщали приборы. Его сны были цветными и странными — Августа, как медиум, могла бы поклясться, что иногда видит их отражение в мерцании «Самоварчика». Она ощущала, как в его детской, за стеной, клубится что-то — не страх, нет, скорее ожидание. Он ждал чего-то, чего не мог объяснить. И это «что-то» уже бродило по коридорам бункера, меняя реальность с лёгкостью фокусника, который не знает сам, какой трюк выполнит следующим.

«Мы все здесь — как ноты в одной партитуре, — подумала Августа. — Громов — бас, Жоржетта — скрипка, Радаслав — детский хор, Ксенофонт — контрабас, а я... я — дирижёр, который не видит оркестра, но слышит каждую фальшь. А вместе мы один оркестр.»

И в этой фальши, в этом тонком, почти неуловимом диссонансе, который вползал в их мир вместе с исчезновением Димы, она угадывала нечто большее, чем ошибку базы данных. Она угадывала выбор.

Но сегодня утром речь шла о том, чего *не* было.

Максим Сергеевич, их де-факто начальник и де-юре испуганный чиновник среднего звена, генерал по званию и собственному призванию, вошёл в командный зал с лицом человека, только что увидевшего собственное пенсионное удостоверение в исполнении Сальвадора Дали.

— Данные, — произнёс он с придыханием. — Они исчезают. Системно. Элегантно. Словно их кто-то... стирает ластиком из метафизического канцелярского набора.

Оказалось, что пропажа носков была лишь камерной прелюдией к симфонии небытия. В цифровых архивах МВД, во флотских базах данных, даже в старой картотеке краснодарского военкомата — везде, где когда-либо упоминался Дмитрий (он же Дима, он же Дмитрий Мирон, он же «Самоварчик»), начался процесс тихого аннигилирования. Фотографии блекли до серых прямоугольников. Строки в таблицах заменялись последовательностями нулей. Даже отпечатки пальцев в картотеке превратились в абстрактные узоры, напоминавшие скорее карту архипелага некой суши, чем дактилоскопию.

– Я официально доложил! – сказал Ерофей Петрович, откладывая папку. Голос у него был спокойный, басовитый, как гул трансформатора в подвале. – Как вы и просили. Докладил, что человека с такими данными не существует. Не существовало. Нет, и быть не может в рамках действующего законодательства и общепринятых представлений о пространстве-времени. Мне даже вежливо сказали «спасибо за бдительность».

В бункере повисла пауза. Где-то тикали часы. Где-то шуршал принтер, печатающий то, что, возможно, исчезнет ещё до того, как бумага попадёт в лоток.

– То есть его... вычеркнули? – спросила Жужжа, на секунду оторвавшись от экрана, где Ефимушка теперь размазывал кашу по столу, создавая что-то вроде джойстика из манки.

– Не совсем, – задумчиво проговорила Августа. Она подошла к одной из своих картин, стоявшей на мольберте в углу. На ней был изображён домовый – не уютный книжный, а их, бункерный, «Самоварчик». Существо из теней, сдвинутых углов и тёплого пара над чашкой. – Его не вычеркнули. Его... освободили от контекста. Он становится чистым понятием. Идеей.

– Августа Иосифовна, дорогая моя, – Максим Сергеевич умоляюще сложил руки. – Вы говорите так, будто это хорошо. А я, простите, вижу дыру в правовом поле размером с человека, которого нет и не было никогда в материальном мире, мире вещей! Он же исчезает из всех реестров! Завтра могут исчезнуть документы на этот бункер! Послезавтра – мы с вами!

– Не исчезнем! – сказала Варвара Прокопьевна, появляясь на пороге с подносом. На подносе дымился самовар, лежали сушки в форме колец и стояла банка с надписью: «Малиновое. Для важных переговоров». – Потому что мы не в реестрах. Мы – за чаем. А то, что за чаем – то уже часть домашнего уклада. А уклад, голубчик, из реестров не вычеркнешь. Его можно только забыть. Или вспомнить.

Она налила чай. Аромат разлился по комнате, густой, смолистый, пахнувший чем-то древним и очень устойчивым. И странное дело – пока они пили, глядя на экраны, где продолжалось тихое стирание Димы из мира официальных бумаг, тревога отступила. Не исчезла, а просто заняла своё законное место – где-то между заботой о Ефимушкином здоровье и мыслями о том, что к ужину нужно разморозить котлеты.

Августа смотрела на свой рисунок домового. И вдруг ей показалось – нет, она *почувствовала* – что тени на картине шевельнулись. Не так, как в мультфильме. А как шевелятся воспоминания, когда о них думаешь слишком сильно. Картина дышала. Тихо. Всего лишь раз в минуту.

И она поняла то, что не мог бы сформулировать ни Максим Сергеевич с его протоколами, ни Ерофей Петрович с его сводками. Дмитрий не сбежал. Он не спрятался. Он делал то, что и обещал, уходя в последний раз, глядя на неё своими странными, слишком глубокими глазами: он менял правила. Он превращался из объекта поиска, самого сущего – в архитектора, создателя сущего. Архитектора новой реальности, где физика могла поддаваться чувствам, где связь между людьми была не метафорой, а строительным материалом, а домовый – не сказкой, а формой жизни, рождённой от тоски по теплу.

«Сирена», тот злополучный корабль, с которого всё началось, был не ловушкой. Он был дверью. Точкой перехода. И Дима теперь был по ту сторону этой двери. Но дверь, как обнаружилось, была двусторонней.

Варвара Прокопьевна протянула ей кусочек сыра.

– На, Августа, подкрепись. Смотрю, мысли у тебя тяжёлые. Мысли нужно кормить, а то они сами начинают мир вокруг кушать.

Августа взяла. На экране Жужжи Ефимушка наконец-то позволил себя накормить и теперь смеялся, размахивая ложкой, как дирижёр маленького оркестра, исполняющего симфонию утра. Где-то в бункере, наверное, её Ксенофонт проверял давление в системе. Где-то в Питере, возможно, кто-то ещё из их разросшейся, дружной семьи – подводник Ицик, вечный скептик Тимофей (брат Августюши), суровый капитан Стефан – все они чувствовали тот же лёгкий холодок потери, тот же зуд недосказанности от изменения пространства бытия-жития.

Исчезновение началось с носков. Потом перешло на документы. Скруглит ли оно свои края о живых людей? Или, может быть, люди – это как раз то, что исчезнуть не может? Потому что их держит вовсе не цифровая запись в базе, а эта самая сеть – невидимая, абсурдная, прочная, как кружево, сплетённое из чайного пара, детского смеха, единения жития-бытия в пространстве времени и вариантов реальностей, смешных стикеров и упрямой веры в то, что домовые – это не ерунда.

Августа откусила кусочек жаренного сыра. Хруст разнёсся по тихой комнате, нарушив напряжённое молчание экранов. Это был хороший, честный звук. Звук реальности, которая, несмотря ни на что, оставалась хрустящей, съедобной и слегка сладковатой на вкус.

Но быть рядом — это ещё и выбор. Каждое утро Августа делала выбор: встать и пойти в командный зал, где её ждали пустые архивы и исчезающие строки, или остаться здесь, с картиной, с облаками, с той странной тишиной, в которой можно услышать дыхание мира. Она выбирала и то, и другое. Она была медиумом, и её дар не выключался по расписанию — он работал фоном, как тот самый генератор, который Ксенофонт настраивал с любовью часовщика.

«Любовь — это не чувство, — вдруг подумала Августа, вспомнив строчку из блокнота Димы, которую прочитала накануне. — Любовь — это решение. Каждую секунду. Выбор оставаться, когда хочется убежать. Выбор верить, когда данные говорят об обратном. Выбор быть рядом — даже когда тебя разделяют километры бетона, работа и няня у кровати ребёнка».

Она посмотрела на экран, где продолжалось тихое стирание Димы из реестров и их отчетов. И улыбнулась. Потому что знала: никакой ластик не вычеркнет того, что было выбрано сердцем. Никакая метафизическая канцелярия не отменит любовь, которая сплела их в этот странный, нелепый, но такой живой узел. И если Дима действительно исчезал — не из мира, а из документов, — то, может быть, это было не наказание. Может быть, это был его собственный выбор. Выбор стать невидимым, чтобы остаться настоящим.

– Знаете, что?! – сказала она всем и никому конкретно. – Мне кажется, пора рисовать. Много рисовать.

Максим Сергеевич вздрогнул.

– Ещё картин? Августа Иосифовна, я умоляю! Каждая ваша картина – это новый отчёт!

– Прекрасно, – улыбнулась Августа. – Отчет – так отчет. А я пока буду рисовать дом, который не могут стереть. Дом, который строится прямо сейчас. Из всего этого.

И её взгляд скользнул от тревожных экранов к улыбающемуся лицу Ефимушки на планшете, к парящему над самоваром облачку пара, к серьёзному лицу Ерофея Петровича и усталым, но тёплым глазам Жужжи.

Первый кирпич в архитектуре нового мира, подумала она, это не сталь и не бетон. Это просто взгляд, полный любви, брошенный через экран. И если таких кирпичей будет достаточно, то никакое исчезновение не страшно. Потому что исчезнуть можно только из того места, где тебя всерьёз и не ждали.

А здесь ждали. Здесь всегда будут ждать. Даже если в реестрах напишут «не существует». Особенно – если напишут.

Августа допила чай. Малиновое варенье осело на доньшке золотистой лужицей. Она смотрела, как Жоржетта, наконец оторвавшись от экрана с заспанным Ефимушкой, потянулась к чашке — и встретила взглядом с Грозовым. Тот не сказал ни слова. Просто подвинул к ней сахарницу. Маленькое движение. Почти незаметное. Но в нём было всё: прощение за долгие часы работы, гордость за её ум, благодарность за то, что она есть. Жоржетта улыбнулась — той улыбкой, которая появляется, когда тебя понимают без слов.

И Августа вдруг поняла: это и есть тот самый «фоновый режим», о котором писал Дима. Не технология. Не протокол. А тихий, непрерывный выбор — быть. Быть друг для друга. Быть для мира. Быть для тех, кто исчезает из реестров, но остаётся в памяти сердец.

Она посмотрела на портрет домового на мольберте. «Самоварчик» смотрел на неё с холста — и в его глазах, нарисованных черным акрилом, словно углём, мерцал тот же свет, что горел сейчас в глазах Жоржетты, Грозова, в тихом сонном бормотании Радаслава за стеной, в гуле генераторов, которые сторожил её Ксенофонт.

«Выбор всегда есть, — подумала Августа. — Даже когда кажется, что реальность стирают, как старую запись. Можно выбрать исчезнуть. А можно — остаться. И не просто остаться. Остаться любя.»

Она взяла кисть. Провела линию. Над домовым, на фоне бункерных стен, проступил контур — едва заметный, как улыбка сквозь сон. Контур человеческой фигуры. Той, что уходила, но не исчезала.

— Ты выбрал быть ветром, — прошептала она. — Что ж. Ветер — это тоже голос. Просто его слышат не ушами.

За окном бункера начинался новый день. И где-то, может быть, в этом самом ветре, Дима улыбался им всем.

Глава 2. Анатомия тишины, или Что скрывает пауза между гудками?

На третий день после протокола под названием «ВИН» («Великого Исчезновения Носков») в бункере воцарилась тишина особого рода. Не тревожная, а... сосредоточенная. Напряжённая, как струна перед тем, как извлечь ноту, которой нет в партитуре. Августа Иосифовна стояла перед чистым холстом и чувствовала эту тишину кожей — она вибрировала, отдаваясь лёгким звоном в ушах, похожим на эхо далёкого колокола.

Ерофей Петрович методично, с видом хирурга, вскрывающего труп кибернетического организма, изучал отчёты. Его палец водил по строчкам на планшете.

— Логистика небытия, — пробормотал он себе под нос. — Сначала мелкие предметы. Потом цифровые следы. Закономерность прослеживается: исчезает то, что легко описать. Носки — пара предметов одежды для нижних конечностей. Документы — набор символов на носителе. Чем проще описание, тем уязвимее объект для... стирания.

— А люди? — спросила Жужжа, не отрывая глаз от экрана, где Ефимушка под руководством Екатерины Семёновны строил башню из кубиков. Башня была кривой, воодушевлённой и напоминала карту их собственного положения в пространстве.

— Людей описать сложно, — отчеканил Ерофей Петрович. — Особенно детей. Попробуйте дать исчерпывающее определение Ефимушке. «Мальчик, два года, любит манную кашу и размазывать её по столу» — это не определение. Это анекдот. Анекдоты из реальности не исчезают. Они в неё вшиты.

Громов говорил это с той спокойной уверенностью, которая рождается только из ежедневного, рутинного наблюдения за чудом. Каждую ночь он возвращался в комнату, где на кровати, сбив одеяло в тугой клубок, спал их с Жоржеттой Ефимушка — маленькое существо, чьё существование опровергало все законы формальной логики. «Мальчик, двух лет от роду, любит кашу...», — это было плохое определение. Настоящее определение звучало иначе: «Тот, ради кого тишина в бункере становится музыкой». Августа, наблюдавшая за этой семьёй со стороны, видела то, что скрывалось за официальными отчётами: как Громов, вернувшись с дежурства, мог стоять у детской кровати двадцать минут, просто слушая дыхание сына. Как Жоржетта, в очередной раз провалившись в работу до полуночи, вдруг поднимала голову и говорила: «Ерофей, он там смеётся во сне. Я слышу?!». И Громов не спрашивал, откуда она знает — он знал тоже. Это была связь, которая не нуждалась в доказательствах. Она просто была — как гравитация, только теплее.

В этот момент Максим Сергеевич ворвался в комнату. Не вошёл, не зашёл — именно ворвался, словно его преследовал собственный истерический тон.

Августа не обернулась. Она уже знала, что он скажет — не словами, а той дрожью в голосе, что выдавала страх человека, привыкшего к инструкциям и вдруг столкнувшегося с миром, где инструкции кончились. Она чувствовала это кожей — её медиумический дар, обострившийся за годы работы в бункере, теперь работал как постоянно включённый радар. Она слышала, как за стеной, в комнате отдыха, Радаслав — её четырнадцатилетний сын, мальчик с глазами, в которых иногда вспыхивал тот же фиолетовый отблеск, что и у «Самоварчика» — читал книгу и одновременно, сам того не осознавая, слушал вибрации бетона. Он начал слышать мир так, как слышала его мама: не ушами, а всем существом. Августа знала это, потому что сама прошла этот путь. Сначала — странные сны. Потом — ощущение, что стены дышат. А потом — понимание: ты не просто в мире. Ты — часть его нервной системы. Ты и есть сам мир. И сейчас, в эту самую минуту, где-то глубоко в недрах бункера, её Ксенофонт — главный инженер, человек, который умел слушать гул генераторов так, как другие слушают симфонии — проверял показатели на нижнем уровне. Она чувствовала его присутствие как тепло в груди: ровное, надёжное, негромкое. Он был её якорем в этом мире, где реальность начала расслаиваться, как старая фанера.

– Августа Иосифовна! Ради всего святого! Прекратите! – выпалил Максим Сергеевич, ворвавшись.

– Прекратить что, Максим Сергеевич? – спокойно спросила Августа, смешивая на палитре оттенки охры с каплей умбры. Цвет получался тёплым, почти съедобным.

– Это! – он ткнул пальцем в её картину домового, ту самую, что стояла на мольберте. – Вот, это вот! Ваши «портреты»! Они... они начали работать!

Все замерли. Даже Ефимушка на экране, казалось, прислушался, уронив кубик.

– Работать? – переспросила Августа. – В каком смысле?

– В прямом! – Максим Сергеевич схватился за голову. – После того как вы повесили ту картину в коридоре, в радиусе пяти метров перестали мигать лампочки! Ровно пять метров! Как циркулем отчертили! А та, что в столовой... Варвара Прокопьевна, подтвердите!

Варвара Прокопьевна, как всегда появившаяся в самый драматический момент с подносом (сегодня на нём были бублики, жаренный сыр и что-то, напоминавшее по цвету и консистенции мёд столетней выдержки), кивнула.

– Действительно. Чай в чашках остывает медленнее. На целых три минуты. Проверили неоднократно по секундомеру. Научный факт.

Максим Сергеевич смотрел на неё, как на сообщницу преступления.

– Вы понимаете, что это? Это арт-эффект неизученной природы! Вы рисуете дыры в правовом поле, Августа Иосифовна! В физическом поле! Во всех полях сразу! Картина – это статичный объект! Она не должна влиять на температуру чая! Это... это вне инструкций!

Августа отложила кисть. Подошла к своей картине. Домовой на холсте смотрел на неё из глубины мазков – не глазами, а чем-то вроде намёка на взгляд. Сгустком внимания.

Августа смотрела на этот «сгусток внимания» и чувствовала, как где-то внутри, в том месте, где у неё хранилось самое дорогое, отозвалась знакомая теплота. Она знала, что сейчас, в эту минуту, её Ксенофонт на нижнем уровне возится с трансформаторами — и, наверное, думает о ней. Он всегда думал о ней, когда работал. Это было их тайное соглашение: даже если они не рядом, их мысли встречаются где-то посередине, в той зоне, где не нужны слова. И ещё она знала, что Радаслав, её сын, сейчас доделывает домашнее задание по физике (такова реальность получения образования), параллельно прислушиваясь к гулу воздуха в вентиляции — он уже начал различать звуки, которые не слышал никто другой. «Ты будешь сильнее меня, — подумала Августа. — Ты будешь слышать не только то, что есть, но и то, что может быть... Как говорит, Вадим Зеленд и еже с ним связанные – пространство вариантов. Хроники Акаши... Дети – всегда лучше родителей, это правильная эволюция!». И от этой мысли ей стало спокойно: мир, в котором вырастет её сын, может быть починен, переписан, исчерчен чужими инструкциями — но он будет услышан. А значит, у него есть шанс.

– А что, если это не дыры?! – тихо сказала она, – А заплатки?

Она повернулась к ним. Лицо у неё было спокойное, но в глазах горел тот самый огонь, что заставляет домохозяйку в критический момент находить нестандартное применение скалке и утюгу.

– Диму стирают из реальности. Стирают всё, что о нём знала система. Но мои картины... они не из системы. Они из памяти. Из чувства. Когда я рисую его – точнее, то, во что он превратился, – я не воспроизвожу данные. Я... вспоминаю вслух. Кистями. И это воспоминание становится якорем. Оно привязывает его образ к миру. Делает его более осязаемым. Не для системы – для нас.

Жужжа медленно поднялась с места. Подошла к другой картине – небольшому этюду, где домовый был изображён в виде теплового следа на стене, как будто кто-то только что прислонился к штукатурке.

– Вот, – прошептала она. – Смотрите. Она поднесла ладонь к холсту, не касаясь его. На несколько секунд все затаили дыхание. И тогда они увидели – нет, *почувствовали* – как от поверхности картины потянулась слабая, едва уловимая струйка тепла, такого же свечения, что и от «Самоварчика». Как дыхание спящего.

– Портал стабилизации?! – сказал Громов безо всякой иронии. Голос его звучал так, будто он объявлял погоду в зоне ответственности флота.

– Августа, ты создаёшь точки повышенной... реальности. Где законы физики немного поддаются законам психологии. – подхватила и продолжила супруга Жоржетта.

– Это ужасно! – простонал Максим Сергеевич. – Вы представляете, какой отчёт мне нужно будет написать? «Влияние акварельной живописи на энтропию в закрытых системах»! Меня уволят! Меня отправят дослуживать в архив снов и недоразумений!

– Успокойтесь, голубчик, – Варвара Прокопьевна поднесла ему бублик, густо намазанный тёмным мёдом. – Съешьте. Это мёд от моей троюродной сестры – пчеловода из горного аула. Он, говорят, мысли проясняет. А тёмные мысли – растворяет.

Максим Сергеевич автоматически откусил. Жевал. Задумался.

– На самом деле, ... – проговорил он с набитым ртом, – ... если подойти с точки зрения парадигмы неустойчивых систем... Ваши картины, Августа Иосифовна, могут быть не причиной, а следствием.

– Каким образом? – спросила Августа. – Дима... «Самоварчик»... он создал зону. Зону, где физические константы становятся... эмоционально гибкими. Но зоне нужны точки входа. Якоря. Ваши картины, ваша память о нём – это и есть такие якоря. Вы не создаёте дыры. Вы рисуете... двери. В ту самую зону. И через эти двери реальность потихоньку подсасывается, как воздух в открытый шлюз. Только вместо воздуха – стабильность.

«Двери», — повторила про себя Августа, и это слово отозвалось в ней эхом, уходящим глубоко в подсознание. Она вспомнила, как вчера вечером зашла в комнату Радаслава — просто проверить, не зачитался ли он до полуночи. Мальчик сидел на кровати, скрестив ноги, и смотрел на стену. Не на экран, не в книгу — просто на стену. «Мама, — сказал он, не оборачиваясь, — там кто-то есть. За стеной. Не в бункере. А за ней. В другом месте. Он улыбается». Августа не стала спрашивать, кто это. Она знала. Это был Дима — или то, во что он превратился. И Радаслав, её начинающий медиум, видел его чётче, чем видела она сама. В этот момент она поняла: дар передаётся не просто по наследству, а по близости – родственности душ. По тому, насколько сильно ты готов слушать тишину. Радаслав был готов. Он рос в этом бункере, среди этих стен, пропитанных чужими секретами и собственными страхами, и учился слышать мир так, как слышат его только дети и поэты.

Все молча переваривали эту мысль. Её нарушил только весёлый лепет Ефимушки с экрана: «Няня-няня! Дай кубик!»

Августа посмотрела на его смеющееся лицо. И вдруг её осенило. Она подошла к Жужже, взяла её за руку.

– Жоржетта. Дай ему меня.

– Что? – Дай ему меня увидеть. Включи двустороннюю связь.

Жужжа, не понимая, но доверяя, переключила камеру. На экране планшета появилось лицо Августы. Ефимушка на секунду замер, удивлённо округлив глаза. Потом радостно замалхал ручками.

– Тетя Агуся! – выдавил он, тыча пальцем в экран. – Тетя Агуся там!

– Здравствуй, Ефимушка, – улыбнулась Августа, и её голос стал мягким, тёплым, каким бывает только у тетушек, знающих секрет самых вкусных пирожков на свете. – Что у тебя там? Покажи тёте свою башню.

Мальчик, захлёбываясь от восторга, стал показывать своё кривое архитектурное сооружение. Августа же тем временем взяла чистый лист бумаги и карандаш. Не отрывая взгляда

от экрана, начала рисовать. Быстро, уверенно, почти не глядя на бумагу. Она рисовала Ефимушку. Не фотографически точно, а так, как чувствовала: весь этот порыв, это доверчивое стремление в мир, эти цепкие маленькие пальцы, хватающие кубики и смыслы с одинаковым энтузиазмом.

Когда она закончила и показала рисунок камере, Ефимушка засмеялся так звонко, что звук заполнил всю комнату бункера.

– Я! – закричал он. – Я там!

И тогда произошло то, чего никто не ожидал, даже Августа. Рисунок в её руках... согрелся. Буквально. Бумага стала тёплой, как живая кожа. А в воздухе, между экраном планшета и листом в её руках, возникла тончайшая, дрожащая, как паутинка на ветру, нить тепла. Её можно было видеть, как мираж, как колебание воздуха над асфальтом в жару.

– Связь! – ахнула Жужжа. – Ты нарисовала связь.

– Не я?! – поправила Августа, глядя на тёплый рисунок. – Мы. Он и я. Его радость узнавания и моё... желание его видеть. Это и есть строительный материал. Самый простой и самый прочный.

Максим Сергеевич молча смотрел на тепловую нить, медленно тающую в воздухе. Потом вздохнул.

– Ладно. Отчёт я назову «К вопросу о визуализации аффективных связей в условиях аномальной физики». Начальство всё равно ничего не поймёт, но звучит солидно.

Громов подошёл к окну монитора, где мерцали карты, схемы, остатки данных по «Сирене».

– Архипелаг?! – сказал он вдруг. – Вы правы. «Сирена» была не кораблём. Это была метафора. Точка перехода. А Дима... он не сбежал. Он стал архитектором. Архитектором архипелага. Группы островков реальности, где главный закон – не всемирное тяготение, а... всемирное тяготение душ друг к другу. Где физика меняется под влиянием чувств.

Тишина в бункере снова изменила свой характер. Она стала не напряжённой, а глубокой. Насыщенной. Как тишина в доме, где все наконец-то собрались за одним столом.

Августа положила тёплый рисунок рядом с картиной домового. Две реальности – одна, рождённая тоской по исчезнувшему, другая – любовью к тому, кто есть. Они дополняли друг друга, как две стены, образующие угол. Самый устойчивый элемент в архитектуре.

– Значит, так! – сказала она, снова берясь за кисть. – Будем рисовать. Много рисовать. Каждую связь. Каждую память. Каждую крупницу тепла. Построим свой архипелаг. Каменный остров – это скучно. А остров, построенный из детского смеха, из пар над чашкой, из вдоха жены, глядящей на экран... Такой остров, не утонет. Его даже заметить сложно. Пока не столкнёшься с ним носом. И не поймёшь, что это и есть единственная настоящая земля.

Варвара Прокопьевна кивнула и налила всем чай. Чай был по-прежнему горячим. И, как показалось Августе, сегодня он пах не просто иван-чаем с чабрецом. Он пах домом. Тем самым, который не на карте. Который строится прямо сейчас. Из краски, из бумаги, из сигнала.

лов Wi-Fi и из непобедимого, упрямого желания одной Скучной тётки видеть своих близких счастливыми.

Августа сделала паузу. Кисть зависла над холстом — на миллиметр, на мгновение, на целую вечность. Она смотрела на этюд, где Ефимушкина башня из кубиков вырастала прямо из центра мира, и думала о том, что на самом деле держит этот мир целым.

— Выбор! — ответила она сама себе. — Каждую секунду мы выбираем. Остаться или уйти. Смотреть на экран или на живые глаза. Верить отчётам или собственному сердцу. Свобода выбора — это не право. Это обязательство. Обязательство быть честным перед теми, кого любишь.

Она вспомнила, как сегодня утром Ксенофонт, уходя на смену, просто положил ей руку на плечо — и в этом жесте было больше слов, чем в любом докладе. Как Радаслав, завтракая, вдруг сказал: «Мам, а ты знаешь, что домовый иногда поёт? Очень тихо. Как трансформатор, только нежнее ...». Как Жоржетта, увидев на экране, что Ефимушка наконец уснул, выдохнула так, будто сбросила груз, который несла невидимо для всех. Это и были их выборы — каждый день, каждый час, каждую минуту.

— Мы строим этот архипелаг не из камня?! — сказала Августа вслух, не оборачиваясь. — Мы строим его из решений. Из тех моментов, когда мы могли отвернуться, но остались. Когда могли забыть, но вспомнили. Когда могли уйти, но выбрали быть рядом.

Варвара Прокопьевна, разливавшая чай, остановилась. Максим Сергеевич замер с бубликом на полпути ко рту. Даже Громов, склонившийся над схемами, поднял голову.

— Любовь, ... — тихо сказала Августа, проводя кистью по холсту — легко, как гладят по голове спящего ребёнка, — ... это не чувство. Это самый трудный выбор в мире. Выбор видеть в другом человеке не просто тело, не просто данные, не просто функцию. Выбор помнить о нём, даже когда его стирают из всех реестров. Выбор держать его образ в своём сердце — так крепко, чтобы реальность сдалась и признала: этот человек был, есть и будет.

На холсте проступил контур — размытый, но узнаваемый. Силуэт человека, сидящего в позе, которая угадывалась как «ждёт чай и разговор». Дима. Или Самоварчик. Или просто тот, кого они не забыли.

— Выбор есть всегда?! — закончила Августа, откладывая кисть. — Даже когда кажется, что мир схлопывается в точку. Можно выбрать сжаться вместе с ним. А можно — стать тем самым якорем, за который он уцепится. И вытянуть его обратно. В тепло. В чай. В смех своего ребёнка. В молчаливое присутствие супруга. В вопросы ребёнка-подростка. В эту странную, нелепую, бесценную любовь, которая не входит ни в один реестр, но держит реальность прочнее всех законов физики.

Августа улыбнулась и взяла следующий чистый лист. Впереди был целый «архипелаг», который нужно было нарисовать.

Даже если для этого придётся перерисовать законы мироздания. Что ж, подумала Августа, делая первый мазок на новом холсте. Художники на то и существуют, чтобы улучшать натуру. Особенно когда натура ведёт себя так неразумно, что позволяет носкам исчезать в неизвестном направлении.

Глава 3. Протокол «Бабушкин сундук», или Что лежит на дне тишины?

На седьмой день после того, как реальность в бункере начала подчиняться законам акварели/акрила и тёплых рисунков, пропали документы.

Не все. И не сразу. Сначала исчез паспорт Варвары Прокопьевны. Она обнаружила это, когда хотела заказать через интернет три килограмма особой гречневой крупы из Брянской области («Та, что зёрнышко к зёрнышку, как солдаты в строю»). Папка с документами была на месте. Внутри аккуратно лежали свидетельство о браке, трудовая книжка, почётная грамота за победу в конкурсе «Лучший самоварщик южного федерального округа – 2004». Но там, где должен был быть тёмно-красный корочка паспорта, зияла пустота. Не дыра. Не разрыв. Просто... отсутствие. Как будто документ выпал из реальности, оставив после себя лишь память о своём существовании и неловкость.

– Любопытно?! – сказала Варвара Прокопьевна, не моргнув глазом. – Теперь я гражданка воспоминаний. Надеюсь, на таможне принимают ностальгию как удостоверение личности.

Затем пропал служебный удостоверение Максима Сергеевича. Он заметил это, когда безуспешно пытался вызвать техподдержку по поводу мигающих лампочек в третьем коридоре. На его обычное «Предъявляю удостоверение, требую немедленного подключения к специалисту четвёртой категории!» в ответ повисла неловкая пауза, а потом робкий голос спросил: «А... а вы кто?». Максим Сергеевич опустошённо положил трубку.

– Это конец, – прошептал он, глядя на пустое место на лацкане пиджака, где всегда поблёскивал значок. – Я стал анонимом. Призраком бюрократического аппарата.

Ерофей Петрович Громов отреагировал на новость с ледяным спокойствием подводника, заметившему, что за бортом закончилась вода.

– Систематизируем, – сказал он, открыв на большом экране таблицу. – Этап первый: исчезновение мелких предметов (носки, ручки, левая перчатка). Этап второй: цифровые следы (файлы, записи в базах). Этап третий: физические носители идентичности (документы). Логика ясна. Идёт «зачистка» описаний. Упрощение реальности до базовых элементов. Объект, который можно однозначно описать тремя словами, уязвим. Объект, требующий для описания романа-эпопеи с лирическими отступлениями о запахе детских волос – устойчив.

Громов говорил это с той интонацией, с какой капитан дальнего плавания перечисляет координаты маяков — спокойно, почти буднично. Но Августа, стоявшая у мольберта, слышала в его голосе то, что было скрыто от остальных: дрожь отца, который каждую ночь проверяет, укрыт ли его сын. Радаслав, мальчик-подросток с вечно взлохмаченными волосами и глазами, в которых иногда загорался тот самый фиолетовый отсвет, что и у «Самоварчика», спал сейчас в своей комнате на верхнем ярусе. Он не знал, что в эту самую минуту мир вокруг него переписывает свои законы. Но Августа знала: её сын чувствует это. Каждое исчезновение, каждую «зачистку» — он слышит их как вибрацию, как тихий гул, идущий из-под пола. Медиум. Начинающий, неуверенный, но уже слышащий то, что не слышат другие. Она хотела защитить его от этого дара, но знала: защитить нельзя. Можно только быть рядом. И научить с ним жить-быть в этом мире. И рисовать. Рисовать так, чтобы мальчик знал: мир держится не на бетоне и инструкциях. Он держится на любви. И на выборе — оставаться человеком, даже когда реальность рассыпается на пиксели. Реальность пере собирается в нечто новое.

– А как же я? – спросил Максим Сергеевич с надеждой. – Моё удостоверение описывалось целым пунктом регламента! С печатями!

– И всё равно сводилось к набору символов, – безжалостно констатировал Ерофей. – ФИО, номер, должность. Слишком просто. Этого оказалось достаточно для... стирания.

Августа молча слушала, продолжая работать над новой картиной. На этот раз она писала не домового, а... сундук. Старый, дубовый, с коваными уголками и потертой крышкой. Такой, какой стоял у её бабушки в деревне и пах лавандой, нафталином и вечностью.

– А почему сундук? – спросила Жужжа, наблюдая, как на холсте проступают сучки и трещины древесины.

– Потому что в сундуках не хранят документы, – не отрываясь от работы, ответила Августа. – В сундуках хранят историю. Вышитые рубашки, которые надевали по большим праздникам. Письма с фронта, пожелтевшие от времени. Прясть волос первого ребёнка, завернутую в газету 1953 года. Сундук – это не опись имущества. Это повесть без начала и конца. Попробуйте описать сундук тремя словами.

Максим Сергеевич, оживившись, попробовал.

– Деревянный ящик для хранения!

Августа покачала головой.

– Не то. Это описание пустого сундука. А я рисую полный. Переполненный. Такой, что крышка приподнимается, и из-под неё выглядывает уголок кружевной скатерти. Такой сундук описать нельзя. Его можно только... помнить. Или нарисовать. С каждым стежком на той скатерти, с каждым пятнышком от засохшей вишни на том письме.

По мере того как картина обретала форму, в комнате начало происходить нечто странное. Воздух стал гуще, запахло воском и сухими травами. Не сильно. Легко, как намёк. Как эхо запаха из другого конца длинного коридора.

Далее раздался сигнал тревоги. Тихий, но настойчивый, как зубная боль в три часа ночи. На центральном экране замигал красный значок. Это была внешняя система оповещения.

Ерофей одним движением вызвал на экран данные. Его лицо, обычно непроницаемое, стало похоже на ледяную маску, под которой что-то шевельнулось.

– Ну-что ж?! – произнёс он почти шёпотом. – Дождались. Цифровой след Димы. Полная де-материализация. Базы МВД, архивы флота, даже запись в военкомате... Всё. Чисто. Как будто человека никогда не существовало. Официально теперь и я могу это подтвердить: человека с такими данными нет. Нигде. Даже в наших отчетах.

Тишина повисла тяжёлой, плотной тканью. Даже Ефимушка на экране, где он сейчас с Екатериной Семёновной лепил из пластилина нечто, напоминающее спутанного осьминога в шапке-ушанке, затих, почувствовав напряжение.

Жужжа подошла к Августуше, молча, ... взяла её за руку. Рука у художницы была холодной, но кисть в другой руке не дрогнула. Она ставила последние мазки на крышку сундука.

– И что теперь? – спросил Максим Сергеевич, и в его голосе звучала не паника, а какая-то отчаянная решимость человека, готового писать отчёт о конце света в трёх экземплярах.

— Теперь?! — сказал Ерофей Петрович, отрываясь от экрана, — Мы переходим от логики небытия к его навигации. Если Диму стёрли из всех реестров, значит, он окончательно перешёл в категорию «неописуемого». Он стал легендой. Призраком. Домовым. А с призраками, как известно, не воюют. Их... ублажают. Или боятся.

Августа молчала, глядя на недописанный сундук. Она знала, что Ерофей прав — но знала и другое. То, что чувствовала кожей, тем самым медиумическим зрением, которое обострилось до предела за эти семь дней. Она чувствовала, как за стеной, в инженерном отсеке, её муж Ксенофонт сейчас возится с генераторами — и думает о ней. Всегда о ней. Даже когда паяет контакты, его мысли возвращаются к ней, как возвращаются голуби к родной крыше. Он был главным инженером бункера, человеком, который знал, где проходит каждая труба и где спрятан каждый запасной болт. Но главное, что он знал — это то, что его жена иногда видит то, чего нет в материальном мире, но есть в мета-физическом. И никогда не говорил ей, что это «ненормально». Он просто проверял, чтобы её чай был горячим, когда она возвращалась из своих путешествий в невидимое. «Держись, — мысленно сказала она ему, и знала, что он услышит. — Я здесь. Мы справимся». И от этого молчаливого диалога по ту сторону бетона стало чуть теплее.

Августа и Радаслав смотрели на пустоту, оставшуюся после того, как Диму вычеркнули из реестров. Для них это было не просто исчезновение — это было пере-сотворение мира. Исчезая из одного списка, Дима переходил в другое состояние, и вместе с ним смещались оси всей вселенной.

Мир, в котором они жили, вдруг стал прозрачным. Августа чувствовала, как завеса между видимым и невидимым истончается до предела. Она вспомнила слова Символа веры: «Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Раньше эти слова казались ей молитвой о далёком Боге. Теперь она понимала их иначе: Творец создаёт не просто два мира, а саму возможность их переплетения. И Дима стал точкой этого переплетения.

Радаслав тихо сказал — он только что вошёл в комнату, неслышно, как умеют ходить только подростки, уже научившиеся быть тенью.

— Его нет даже в наших отчетах, — тихо сказал Радаслав, водя пальцем по странице очередного отчета, где имя Димы исчезло, оставив лишь белое пятно. — Но это не конец. Это начало.

Он видел то, что скрыто от глаз большинства. Невидимое для него не было пустотой. Как учил Гераклит, видимое и невидимое — две стороны одного огня, одной реки. Дима не ушёл в никуда; он вошёл в ту структуру мира, которая раньше была лишь остовом. Мерло-Понти называл это «внутренним скелетом» реальности — тем, что не показывается, но держит всё на своих местах.

— Мир невидимый, — продолжал Радаслав, — раньше был обителью ангелов. Но теперь, когда Дима стёрт, он стал местом, где рождается новый порядок. Ангелы были сотворены, согласно святому Писанию, прежде из видимого мира, но наше время смешало все очередности. Сегодня невидимое входит в видимое, чтобы переписать законы бытия.

Августа кивнула. Она вспомнила Платона: мир идей — не абстракция, а глубочайшая реальность. Дима стал идеей. Его имя исчезло из материального мира букв и цифр, но это означало, что его сущность теперь не принадлежит ни одному списку, ни одной категории. Он — форма, которую может принять любой следующий непроявленный мир.

— В искусстве, — задумчиво произнесла она, — художник лишь пытается уловить энергию духа. А теперь мы сами — те, кто эту энергию создаёт. Зрителем же станет вся вселенная.

Радаслав закрыл отчет. На его обложке больше не было имени Димы, но он знал: именно с этого момента начинается новое мироздание. То, что было невидимым, стало видимым. А то, что было стёрто, стало началом всего.

Августа наконец отложила кисть. Картина была готова. Старый сундук на холсте выглядел настолько реальным, что казалось, вот-вот крышка откроется со скрипом. А вокруг картины, в радиусе метра, воздух дрожал, как над раскалённым асфальтом. И в этой дрожи угадывались очертания... чего-то. Не человека. Не вещи. А чего-то третьего. Присутствия.

— Он не исчез, — тихо сказала Августа, глядя на дрожащий воздух. — Его просто перестали видеть те, кто смотрит глазами. Кто ищет по фамилии в базе данных. Но мы-то ищем по-другому.

Она подошла к стене, где висели её ранние эскизы домового, рисунок тёплого Ефимушки, и только что законченный «Бабушкин сундук». И повесила его рядом, завершая своеобразный иконостас.

— Мы ищем сердцем. А сердце, ... — она обернулась к ним, и в её глазах стояли не слёзы, а какое-то твёрдое, кристальное понимание, — У сердца своя опись имущества. И свой реестр. Там записано не «Гражданин такой-то». Там записано: *«Тот, кто смеялся над моими пирогами с капустой. Тот, кто чинил розетку в зале и напевал «Подмосковные вечера». Тот, чья тень на стене была знаком, что дома все живы и здоровы»*. Это описание уже не стереть. Оно слишком длинное. И слишком... человеческое.

Августа замолчала, и в этом молчании вдруг отчётливо прозвучал голос Радаслава. Он остановился у входа, глядя на картины на стене. На «Бабушкин сундук» — особенно долго. Потом сказал, не оборачиваясь.

— Мам. А там, внутри, ещё что-то есть. Не только скатерть. Там... кто-то сидит. Маленький. И он плачет. Но не грустно. Просто... вспоминает.

Все замерли. Ерофей Петрович медленно поднял голову от показаний спектрометра. Максим Сергеевич открыл рот и забыл его закрыть. А Августа — Августа просто кивнула. Она знала, что сын скажет это. Рисунки — это мост. Мост между теми, кто ушёл, и теми, кто остался. Мост, который нужно строить каждый день — рисунками, воспоминаниями, тихими разговорами на кухне, когда за окном темно, а в чашках остывает чай.

Варвара Прокопьевна, до этого молча наблюдавшая, тяжело поднялась.

— Ну, раз уж мы все здесь собрались как неопишуемые личности?! — сказала она деловито, — То я предлагаю провести инвентаризацию по-новому. Не того, что есть. А того, что важно. Кто хочет чаю? И... — она сделала паузу, — кто помнит, как пахнут пироги с вишней, которые пёк Дима в ту самую зиму, когда выпало столько снега, что машины встали?

И странное дело: когда она произнесла это, дрожание воздуха вокруг картин на мгновение успокоилось. Стало ровным, тёплым. И в воздухе, совсем явственно, запахло вишневым вареньем и сдобным тестом. Запах длился всего секунду. Но его хватило, чтобы Августюша вытерла глаза и пробормотала.

– Чёрт побери. А ведь я помню. Он ещё корицу туда сыпал. Слишком много. Пироги горчили. Но были... самыми, теми самыми нашими самыми – пирогами в мире.

Жоржетта кивнула, и в уголке его рта дрогнуло нечто, отдалённо напоминающее улыбку.

– Архипелаг пополнился новым островом, – констатировала она, в стиле своего мужа Громова, с военной интонацией. – Остров «Вишнёвый пирог». Координаты: сорок четвёртая параллель, воспоминание номер семь. Объект не подлежит де-материализации. Потому что вкус нельзя описать. Его можно только вспомнить. И передать.

Ерофей Петрович кивнул, мол всё верно, так и есть, и в комнате повисла та особая тишина, которая бывает только тогда, когда сказано что-то очень важное. Августа смотрела на свои картины, и вдруг — отчётливо, как будто кто-то сказал это вслух — она услышала голос Ксенофонта. Он не был в комнате, он был на нижнем уровне, возле трансформаторной будки. Но она слышала его так ясно, будто он стоял за её спиной: «Я горжусь тобой. Продолжай! Я рядом. Мы вместе.». Это было не слово — это было чувство, переданное сквозь бетон и километры проводов. Она улыбнулась и мысленно ответила: «Я знаю. И я люблю тебя!». А Рада-слав, сидевший на полу возле её мольберта и задумчиво рисующий что-то в своём блокноте, вдруг поднял голову и сказал.

— Мам, а папа сказал, что ужин через двадцать минут, и он будет вовремя.

И никто не удивился. Потому что в этом бункере давно перестали удивляться тому, что невозможно объяснить. Здесь научились жить с чудом — как с соседом по лестничной клетке. Немного шумным, немного странным, но — своим.

Августа посмотрела на свои картины. На этот растущий архив чувств, вывешенный на стене вместо документов. И поняла, что Жоржетта прав. Они не теряют почву под ногами. Они её создают. Каждый рисунок, каждая картина, каждая вызванная из небытия память — это ещё один островок в архипелаге их общей, странной, неправильной, но невероятно прочной реальности.

А на экране Ефимушка, словно почувствовав облегчение, снова засмеялся и шлёпнул по своему пластилиновому осьминогу, прилепив ему ещё одну улыбку. Кривую, радостную и совершенно не поддающуюся никакому официальному описанию.

Августа поставила кисть в банку с водой и отошла на шаг, чтобы окинуть взглядом весь свой «иконостас» — галерею из памяти, тепла, тёплых рук и тихих голосов. Три картины. Три острова. Три якоря в море, которое пытается смыть всё, что не вписано в реестры.

— Знаете, ... — сказала она, не оборачиваясь, — ... я всё думала об этом. О выборе. О том, что мы выбираем каждый день. Мы можем выбрать страх. Можем закрыться в своих комнатах, заклеить окна фольгой и ждать, пока «оно» закончится. А можем выбрать другое.

Она повернулась к ним — к двум генералам, подруге, кухарке и сыну, которые смотрели на неё с тем же выражением, с каким они смотрели на показания электронных приборов: внимательно, доверчиво и немного удивлённо. К Жужже, которая прижимала к себе планшет так, будто это был ребёнок. К Громову, что положил руку на плечо Жоржетте. К Максиму Сергеевичу, который всё ещё держал в руке надкусанный бублик и выглядел так, будто присутствует при рождении нового вида искусства. К Варваре Прокопьевне, которая, сложив руки на фартуке, смотрела на неё с той спокойной мудростью, какая бывает только у женщин, переживших и пару апокалипсисов, и перестройку, и исчезновение носков.

— Свобода выбора, ... — продолжила Августа, — ... это не право. Это ответственность. Мы отвечаем за то, во что превращается мир вокруг нас. Если мы выбираем любовь — мир становится теплее. Если выбираем память — мир становится глубже. Если выбираем быть вместе — мир становится прочнее. Даже когда его пытаются стереть.

Она подошла к рисунку Ефимушки, тому самому, который всё ещё хранил тепло детского смеха, и провела по нему пальцем. Бумага отозвалась лёгким теплом.

— Протокол «Бабушкин сундук» — это не про то, как спрятать документы. Это про то, как спрятать душу. В вещах, которые нельзя описать. В воспоминаниях, которые нельзя оцифровать. В любви, которую нельзя стереть, потому что она живёт не в базах данных. Она живёт в нас. В каждом взгляде, в каждом прикосновении, в каждом «я помню».

Она посмотрела на выход из комнаты, туда, где за углом, в столовой, Ксенофонт уже накрывал на стол — и думал о ней. И где Радаслав, закончив свой рисунок, теперь рассматривал его на свет, пытаясь угадать, что ещё скрывается за гранью видимого и невидимого.

— Мы строим свой архипелаг, своё пространство мира. — тихо сказала Августа. — Остров за островом. Выбор за выбором. И каждый раз, когда мы выбираем любовь вместо страха, память вместо забвения, тепло вместо холода — мы добавляем ещё один камень в эту стену. Стена эта не видна глазу. Но она держит реальность. Потому что настоящая реальность — это не то, что записано. Это то, что выбрано.

В бункере стало тихо. Но в этой тишине слышалось нечто большее, чем отсутствие звуков. В ней слышался выбор. Сделанный. Подтверждённый. И теперь — нерушимый.

Варвара Прокопьевна первой нарушила молчание. Она поправила фартук, вздохнула и сказала:

— Ну-что ж, выбор сделан. А теперь — чай. И пироги. Потому что любовь, она, знаете ли, любит тепло. И сладкое. И чтобы за столом — все вместе. И разговоры в параллель и смех, добрые шутки...

И все улыбнулись. Даже Максим Сергеевич. Даже Ерофей Петрович, хотя улыбки этих двух военных больше напоминали лёгкое движение мышц, которое можно было бы принять за намёк на улыбку, если бы вы знали, где искать.

А на стене три картины смотрели на них — и в их красках, переплетаясь, жила та самая неопишуемая, не поддающаяся никакой ревизии, вещь. Она называлась — любовь. И она была сильнее любого протокола.

Глава 4. Принцип дырявого носка и метафизика детского смеха

На следующий день они снова собрались в комнате с «Самоварчиком». Их команда думал, что же творится с миром явным и неявным, проявленным и непроявленным, материальным и духовным. Каждый думал о своём. Тишина после воцарилась особого сорта — не расстерянная, а *напряжённая*, как струна перед тем, как взять высокую ноту. Максим Сергеевич первый не выдержал этого акустического вакуума.

— Позвольте, — он поднял палец, как школьник на уроке квантовой физики, который вдруг понял, что учитель говорит на древне-шумерском. — Вы утверждаете, что реальность можно...

пере-прошить эмоциями? Что любовь – это не метафора, а... строительный материал? Это же...

– Абсурд? – мягко закончила за него Жоржетта, не отрывая взгляда от экрана с отчетом, мельком косясь, удивляясь, что она ещё не исчезла, фотокарточка с Диминой улыбкой. – Максим Сергеевич, а что такое абсурд, как не реальность, отказавшаяся подчиняться нашим ожиданиям? Нам кажется, что мир держится на законах физики: данных и отчётах о них. А на самом деле он держится на вещах куда более хрупких. На обещании вернуться к ужину. На привычке класть любимую чашку слева от тарелки. На том, как двухлетний ребёнок, ещё не умея толком говорить, уже знает запах маминой кофты в темноте.

Жужжа обернулась к Августе. Та сидела, обхватив себя за плечи, и смотрела не на схемы, а на заставку своего ноутбука – фото, где Ефимушка, весь в земляничном пюре, заливается смехом, который не передать никаким мультимедийным средством связи.

– Жоржетта, – сказала Августа так тихо, что только та могла услышать. – Когда ты сегодня утром смотрела на экран с Ефимушкой, что в пару комнат отсюда. Там он с няней, но всё же не с тобой рядом... что ты чувствовала? Конкретно.

Жужжа вздрогнула, будто её вернули из далёкого путешествия.

– Как что? Тоску. Вину. Желание провалиться сквозь землю, чтобы оказаться рядом. Хотела обнять его так сильно, что... что казалось, стекло экрана должно было треснуть от этого желания.

– А когда ты *чувствовала* это сильнее всего? – Когда он... протягивал ручки к экрану. И пальчиками водил по мамину лицу на экране. И говорил: «Тёп-ая...» Он думает, экран – это я. Что я за стеклом. Что можно дотронуться.

– Точка контакта. Неосуществлённого, но от этого только более сильного. Ребёнок тянется к экрану, на котором его родной человек, неосязаемый – без ощущений и запахов, словно родной человек на экране – призрак, что становится реальнее, чем стены из бетона между ними. Это... энергетический резонанс. – промолвил Громов, до этого молчавший, как скала, и тихо выдохнул.

Громов произнёс это тем голосом, каким отец проверяет, укрыт ли ребёнок в сумраке ночи — сдержанно, но с дрожью, спрятанной глубоко внутри. Он знал, о чём говорит. Каждую ночь он заходил в комнату сына. Громов чувствовал это кожей.

– Не энергетический, – поправила Августа. – *Семейный*. И Дима... Дима нашёл способ *использовать* этот резонанс. Он взял принцип детского жеста «мама за стеклом» и применил его ко всей реальности. Он стал тем, кто *за стеклом*. Но не исчез. А стал... основой для нового стекла. Для новой реальности, где такие связи – не слабость, а силовой каркас.

В этот момент из коридора донёсся лёгкий, почти неслышный скрип – тот самый, который они научились распознавать за неделю. Скрип не дерева и не металла, а чего-то, чего не должно скрипеть в принципе. Все замерли.

– Он здесь! – прошептала Жужжа.

– «Самоварчик»? – уточнил Максим Сергеевич, инстинктивно отодвигаясь к стене.

– И не только?! – сказала Августа. Она встала и подошла к стене с картинами. На самом свежем наброске – домовой, сидящий на краю дивана и смотрящий на экран монитора, где

мелькали силуэты, – что-то изменилось. Раньше экран был пустым. Теперь на нём угадывались смутные очертания... комнаты. Детской. И маленькой фигурки в пижаме с мишками.

– Он вновь учится!? – сказал Громов, подходя ближе. – Не просто материализуется. Он... *взаимодействует*. Потребляет информацию. И выдаёт её в переработанном виде. Смотрите.

Действительно, пока они смотрели, очертания на экране в рисунке стали чуть чётче. Теперь можно было разглядеть, что на стене детской висел рисунок – кривоватый домик с трубой. Тот самый, который Ефимушка нарисовал неделю назад, и Жужжа сфотографировала, чтобы сохранить для потомков, так сказать.

– Он... подключается к нашему полю, – медленно проговорила Августа. – К нашему общему информационному пространству. И картины – это не просто изображения. Это... интерфейсы. Порты для связи. Когда я рисую домового, я не создаю его с нуля. Я *настраиваю канал*. Делаю его доступнее для восприятия. И чем больше мы вкладываем в этот канал – воспоминаний, эмоций, бытовых деталей – тем устойчивее он становится. Тем реальнее.

Максим Сергеевич побледнел.

– Вы хотите сказать, что своими акварельками и акрилками, вы... пробурили дыру в материальном поле? И теперь через эту дыру к нам заглядывает... что? Сущность, питающаяся детскими рисунками и чувством вины работающих матерей? И эта сущность может быть вовсе не наш «Самоварчик»?

– Не «питающаяся», – резко оборвала его Жужжа. Она встала, и в её глазах горел тот самый огонь, который Ерофей называл «режимом мама-медведицы». – А *существующая благодаря*. Есть разница. Одна сущность паразитирует, другая – *со-творяется*. Дима не стал паразитом. Он стал... *фундаментом*. Основой для чего-то нового. И да, этот фундамент строится из нашего с вами обычного человеческого тепла. Из тоски по ребёнку. Из смеха над глупым стикером от Ксенофонта. Из запаха пирогов Варвары Прокопьевны. Вы называете это «дырой в правовом материальном поле». А я называю это... *домом*. Единственным домом, который у нас остался, пока там, снаружи, мир пытается стереть нас, как ненужные файлы.

Её голос дрогнул на последних словах. Августа подошла и молча обняла её за плечи. В этот момент в комнате стало заметно теплее. И пахло... ванилью. Свежей выпечкой. Хотя кухня была в другом конце коридора, а Варвара Прокопьевна сегодня, насколько знала Августа, пекла гречневые оладьи, а не ванильное печенье.

На экране в рисунке силуэт Ефимушки вдруг повернулся. И поднял руку. Не к экрану. А *за пределы рисунка*. Как будто махал кому-то, кто стоит рядом с картиной.

И все пятеро в комнате почувствовали одно и то же: лёгкое, едва уловимое дуновение воздуха у щеки. Как будто мимо пронеслась пушинка. Или кто-то невидимый провёл ладонью в сантиметре от кожи, не дотрагиваясь, но *обозначая присутствие*.

– Принцип дырявого носка, – вдруг сказала Августа, и её голос прозвучал странно спокойно на фоне всеобщего замешательства. – Если мир – это носок, а Дима – дырка в нём, то мы сейчас не латаем дырку. Мы *вплетаем* в её края новую нить. Нашу общую нить. И чем больше мы вплетём – тем красивее и прочнее станет узор. Да, носок будет с дыркой. Но зато эта дырка будет нашей. И через неё будет видно не голую ногу, а... другую реальность. Ту, где законы пишутся не чиновниками, а сердцем.

Августа посмотрела на свои руки, испачканные акрилом, и вдруг подумала о своём сыне – Радаславе. О том, как он вчера вечером сидел в комнате с блокнотом и рисовал что-то, о чём не рассказывал. А потом, укладываясь спать, спросил: «Мам, а дядя Дима правда слышит, когда мы о нём думаем?» Она ответила: «Правда!». И мальчик, помолчав, прошептал в темноту: «Дядя Дима, я здесь. Я тебя помню!». Это были не просто слова памяти. Это была формула. Та самая нить, которая вплетается в край «дырявого носка».

Она посмотрела на своё отражение в тёмном экране монитора. На свою, как она сама себя называла, «скучную тёткину» физиономию. И вдруг улыбнулась. Не широко. Но так, что паутинки кожи вокруг глаз сложились в узор, похожий на лучи.

– Ладно, – сказала она, отряхивая руки, как после завершения сложной работы. – Теория теорией, а практика – пирогами. Пойду помогу Варваре Прокопьевне. А ты, Жоржетта, – она повернулась к подруге, – возьми отложи планшет, направься к Ефимушке, возьми отгул. Просто, чтобы побыть рядом и порадоваться совместному семейному времени вместе. И чтобы... *вплетать ниточку*. Поговорить с семьёй, с Ефимушкой про нашего домового, который живёт в картинках. Про дядю Диму, который строит дом из воздуха и воспоминаний. Дети ведь верят в такие вещи без всяких доказательств. А может, именно поэтому они и есть самое веское доказательство.

Она вышла, оставив их в комнате, где пахло ванилью, где на экране ноутбука мерцали схемы несуществующего человека, а на стене в рисунке маленький силуэт в пижаме с мишками теперь явно что-то строил из кубиков. Из кубиков, которых на рисунке раньше не было.

Ерофей Петрович посмотрел на жену, на её руки, сжавшие планшет так, что костяшки побелели.

– Ну-что, инженер нашего семейного счастья? – спросил он тихо. – Будем строить метафизику на основе детского смеха?

Жужжа глубоко вдохнула, провела ладонью по клавиатуре, написав заявление на пару дней отгулов.

– Будем! – сказала она твёрдо. – Потому что всё остальное – бетон, сталь, законы и отчёты – уже дало трещину. А этот материал... – её голос дрогнул, но не от слабости, а от странной, новой уверенности, – этот материал проверен веками. Он называется «любовь». И против него даже самый совершенный алгоритм стирания – бессилен.

И пошла в их личное пространство – комнату, где она увидела сонное, помятое личико Ефимушки, а он, увидев маму, просиял и потянулся к ней со своим вечным «Тёп-ая...», в их личном пространстве комнаты снова повеяло тем самым странным, уютным теплом. И где-то в углу, на полке с документами, сам собой перевернулся листок бумаги. На его обороте, чистом вчера, теперь проступили два слова, выведенные знакомым, ушедшим подчерком: **«Продолжайте. Я слушаю».**

Августа, уже выйдя в коридор, остановилась. Она прислонилась спиной к холодной бетонной стене и закрыла глаза. Внутри неё, как эхо, отдавались слова, которые она не говорила вслух, но которые жили в ней все эти дни.

— Выбор, — подумала она. — Каждый день мы делаем его. Выбрать страх — и спрятаться за стенами, за регламентами, за словами: «Так положено!». Выбрать любовь — и признать, что мир не сводится к инструкциям. Что носок может быть дырявым, но зато тёплым.

Что домовой может жить в картине, если в неё поверить. Что муж, который чинит инженерные инфраструктурные объекты за стеной, — это не просто инженер. Это человек, который каждую ночь кладёт руку мне на спину и шепчет: «Я здесь! Люблю тебя...». Что сын, видящий фиолетовые тени, — это не ошибка природы. Это следующий шаг эволюции их семейного генофонда. И что любовь — это не метафора. Это единственная сила, которая способна удерживать реальность, когда все остальные нити уже оборваны.

Она открыла глаза. В коридоре было сумрачно, но ей показалось, что лампочки засветили чуть теплее.

— Свобода выбора — это не право, ... — снова подумала она. — Это ответственность. Мы отвечаем за то, во что превращается мир. Если мы выбираем любовь — мир становится теплее. Если выбираем память — мир становится глубже. Если выбираем быть вместе — мир становится прочнее. Даже когда его пытаются стереть.

Она оттолкнулась от стены и пошла к кухне. Туда, где Варвара Прокопьевна уже ставила чайник. Где пахло пирогами и чем-то неуловимым, что не поддаётся описанию — но что держит этот мир на плаву. Любовью.

Выбор был сделан. И теперь — нерушим.

Глава 5. Протокол «Пирожок с капустой» и топология уюта

На следующий день бункер проснулся от запаха, который не вписывался ни в один протокол. Это был не запах кофе из автомата, не запах озонного воздуха систем вентиляции и даже не запах свежей типографской краски от принтера, печатающего отчёт о «несуществующем объекте». Это был запах жареного лука, тушёной капусты и дрожжевого теста. Запах пирожков.

Варвара Прокопьевна, в нарушение всех правил хранения продуктов и санитарных норм Бункера, устроила на маленькой кухонной плите кулинарный перформанс. Она месила тесто на столе, застеленном чистой медицинской клеёнкой, шинковала капусту ножом, который, как она уверяла, «помнит ещё блокаду», и приговаривала что-то себе под нос. Августа, заглянувшая за чаем, застыла на пороге.

— Варвара Прокопьевна, вы... это... откуда ингредиенты?

— А, Августа Иосифовна, — повариха махнула рукой, обсыпанной мукой. — Не спрашивайте. Вчера вечером заглянула в кладовку за крупой — а там, на полке, мешочек с мукой стоит. И капуста. И лук. Не было их там в понедельник, я ручаюсь. Но раз есть — значит, так надо. Может, ваш домовой подкинул. Или сама реальность проголодалась от всей этой метафизики. А на голодный желудок, я вам скажу, никакие чудеса не творятся. Только мигрень и несварение.

Августа присела на табурет, наблюдая, как ловкие руки лепят аккуратные пирожки, защипывая края особым, «бабушкиным» способом.

— Вы не боитесь? — спросила она тихо. — Что это... не совсем продукты? Что они могут быть... частью чего-то?

— Деточка!? — Варвара Прокопьевна посмотрела на неё поверх очков, — Всё на этом свете — часть чего-то. Воздух — часть атмосферы. Слово — часть разговора. А пирожок — часть гармонии в семье. Потому что пирожок не едят в одиночестве. Его делят. Им угощают. О нём говорят: «Ой, как вкусно!» или «А у моей бабушки были с яйцом и зелёным луком?!». Вот, и весь секрет. Если эти пирожки — часть той... меж-пространственной щели — нашего или

нового «Самоварчика», что ли?! – она кивнула в сторону коридора, откуда иногда доносился тот самый скрип, – То пусть учатся быть *съедобными*. А если нет – ну, значит, просто пирожки. От них тоже хуже не станет.

Логика была железной и вполне «съедобной». Как и тесто под её руками.

Тем временем в оперативной комнате – их штабе – Жужжа с Ерофеем разбирали последние данные. Картина была сюрреалистичной. Цифровой след Димы исчез окончательно. Из архивов МВД, из флотских списков, даже из базы данных паспортного стола – везде стояла пометка «запись не найдена». Но параллельно с этим в бункере начали появляться *артефакты*. Не мультяшные, а самые что ни на есть физические.

Однако, данные о Максиме Сергеевиче, Варваре Прокопьевны, Громовых, Августе, Ксе-нофонте и Радаславе – исчезли всего на день – как на миг, как ошибка системы, что стирала лишь Диму, как мимолетный баг.

Тем не менее исчезновения и появления повторились, Максим Сергеевич, утром не нашёл свой любимый карандаш с ластиком. А через час обнаружил его в холодильнике, рядом с пачкой масла. Карандаш был тёплым. А на масле, если приглядеться, отпечатался чёткий след зубов – маленьких, как у ребёнка.

– Это что, наш «Самоварчик» зубастик? – пробормотал он, осторожно доставая карандаш. – Или он нам намекает, что пора завтракать?

– Это не агрессия. Это... *исследование*. Тактильное. Он изучает нашу реальность через предметы. Через их текстуру, температуру, вкус. Как наши земные (проявленные, видимые) дети, всё пробует на зуб, просто повторяет за Ефимушкой... Карандаш – для письма, для творчества. Масло – для питания, для жизни. Он как бы составляет каталог своего. Базу данных нашего быта в понимании своего невидимого мира. – проговорил Ерофей Петрович, изучавший феномен, выдал гипотезу.

– Базу данных из украденных носков и надкушенного масла? – съязвил Максим Сергеевич, но в голосе его уже не было паники. Был скорее... профессиональный интерес.

Громов говорил о детях, и новая, непривычная мягкость проступила в его обычно резких чертах. Он думал и о Ефимушке, и о Радаславе. Вчера вечером, когда он заглянул в его комнату, Радаслав сидел с закрытыми глазами, и в воздухе вокруг его ладоней дрожал тот самый фиолетовый свет — такой же, как у Августы.

— Дядя Ерофей! — сказал мальчик, не открывая глаз, — Дядя Дима говорит, что я не один. Что таких, как мы, много.

Ерофей тогда промолчал. Но сейчас, вспоминая следы маленьких зубов на масле, он вдруг понял, что Радаслав, Ефимушка, «Самоварчик» — не случайность, они все в какой-то мере в одной «весовой категории», так сказать.

В этот момент в комнату вошла Августа с тарелкой дымящихся пирожков.

– Протокол «Пирожок с капустой» в действии, – объявила она. – Варвара Прокопьевна настаивает, чтобы все отвлеклись на пять минут и подкрепились. Говорит, что сытое сознание лучше генерирует защитные поля.

Пахло так божественно, что даже Максим Сергеевич не устоял. Они расселись вокруг стола, заваленного схемами и принт-аутами, и принялись есть. И тут случилось странное.

Как только Жужжа откусила первый кусок, на большом экране, где обычно висела карта сигналов, возникла рябь. Не помехи, а скорее... узор. Как будто кто-то водил пальцем по пыльному стеклу. И узор этот постепенно сложился в контур. Контур детской ручки. Ладшки с растопыренными пальцами.

– Это... Ефимушка, – прошептала Жужжа, замирая с пирожком в руке. – Он так всегда, когда ест что-то вкусное, размазывает ладошкой по столу... А потом смотрит на отпечаток...

Отпечаток на экране медленно заполнился цветом. Неярким, акварельным. И вокруг него проступили другие детали: крошки на столе, краешек синей чашки, пятно от варенья. Картинка была статичной, но невероятно живой. Как моментальный снимок из другого измерения.

– Канал стабилизируется, – тихо сказал Громов, не отрывая взгляда от экрана. – Не через сложные вычисления. А через... общий контекст. Через синхронизацию бытовых ритуалов. Мы здесь едим пирожки. Там... он размазывает ладошкой по столу. Два параллельных действия, связанные одним смыслом – «семейная трапеза». И эта связь усиливает мост.

Августа медленно кивнула. Она смотрела не на экран, а на свою тарелку. На золотистую корочку пирожка, из которой шёл пар.

Августа чувствовала это каждой клеткой: мир истончается. Она — медиум, она привыкла видеть то, что скрыто. Но сегодня всё было иначе. Сегодня скрытое само тянулось к ней. И она знала, что за стеной, в машинном зале, её муж Ксенофонт сейчас проверяет показатели давления в гидравлике. Человек, который никогда не видел фиолетового свечения. Который верит только в цифры и допуски. Но при этом каждое утро оставляет ей на столе в столовой чашку её любимого иван-чая с мёдом — именно так, как она любит. И ни разу не спросил, почему его жена иногда разговаривает с пустотой. Он просто сказал однажды: «Ты моя реальность — главная и основная. Всё остальное — детали!». Августа улыбнулась этой мысли. Она знала: Ксенофонт — главный инженер бункера, но главная его инженерия — это умение держать мир целым, пока она рисует в нём «новые двери». И это тоже — любовь. Самая тихая, самая прочная.

– Дима всегда говорил, что самое сложное в архитектуре – не рассчитать нагрузку, а вписать здание в контекст!? – сказала она задумчиво. – Чтобы оно не выглядело инородным телом. Чтобы оно *дружил* с окружающим пространством. С деревьями, с небом, с памятью места. Он, наверное, и здесь применил тот же принцип. Он не строит новую реальность с нуля. Он... *встраивает* её в уже существующую. Как пирожок встраивается в обеденный перерыв. Как детский смех встраивается в тишину квартиры. Он использует уже готовые, тёплые, «обжитые» ячейки нашего мира. И заполняет их... новым содержанием.

– То есть наш бункер сейчас – это такой архитектурный гибрид? – уточнил Максим Сергеевич, осторожно откладывая второй пирожок. – Где несущие конструкции – из бетона и арматуры, а отделка – из наших воспоминаний и пирожков с капустой?

– Что-то вроде того, ... – улыбнулась Августа. – И, кажется, «отделка» начинает влиять на «конструкцию».

Она указала на стену. Там, где раньше была серая, безликая штукатурка, теперь проступал лёгкий, едва заметный узор. Похожий на морозные рисунки на стекле. Если приглядеться, можно было разглядеть контуры: вот спинка дивана, вот абажур торшера, вот силуэт кошки на

подоконнике... Узнаваемая, уютная гостиная. Не та, что в бункере. А та, что была в их старых квартирах. У каждого – своя.

– Он рисует наш общий дом! – сказала Жужжа, и голос её дрогнул. – Из обрывков наших воспоминаний. Чтобы нам было... не так одиноко.

В этот момент в комнату вкатился маленький металлический шарик – часть от какой-то старой аппаратуры. Он покатился по полу, описал дугу и остановился у ножки стола. А потом... подпрыгнул. Один раз, второй. Как будто его подбрасывала невидимая рука. Играла.

Все замерли, наблюдая за этой немой сценой. Шарик прыгал, постукивал о пол, катился, снова подпрыгивал. В его движениях была какая-то... радостная, детская неуклюжесть.

– Ефимушка обожает такие шарики, – тихо произнесла Жужжа. – У него целая коллекция... Он их катает, кидает, теряет под диваном...

И тогда Августа поняла. Поняла окончательно. Он не просто «стабилизировал канал». Он *приглашал гостей*.

«Самоварчик», Дима, щель в реальности – называйте как хотите – не просто существовал параллельно. Он активно создавал *общее пространство*. Пространство, где правила определялись не законами физики, а законами семьи. Где связь между матерью и сыном могла стать несущей балкой. Где запах пирожков мог быть проводником. Где украденный носок и надкушенное масло были не актами вандализма, а буквами в новом алфавите. Алфавите их общего дома.

– Максим Сергеевич. – сказала Августа, отрывая взгляд от играющего шарика. – Вы всё ещё считаете, что мы рискуем материальным полем?

– Августа Иосифовна, – ответил он с неожиданной лёгкостью, вздохнув, сняв очки и протерев их салфеткой. – Если честно, я уже не уверен, что такое «материальное поле». Поле – оно для игры. Или для выращивания урожая. А то, что здесь происходит... это больше похоже на *строительство*. И законы тут, кажется, пишутся не в министерствах. Они... вырастают. Как узор на стене. Из наших с вами поступков. Из того, поделимся ли мы последним пирожком. Из того, вспомним ли мы, как пахнет дом нашего детства.

Он помолчал, глядя на проступающий на стене рисунок своей старой гостиной с огромным книжным шкафом.

– И знаете, что? Эти законы... они, пожалуй, крепче многих статей Уголовного кодекса будут.

Шарик в этот момент докатился до его ноги и тихо стукнул о ботинок. Максим Сергеевич наклонился, поднял его, подержал в ладони. А потом, с какой-то неожиданной для него самой грацией, подбросил в воздух. Шарик описал дугу и... исчез. Не с шумом, не со вспышкой. Просто перестал существовать в точке наивысшего подъёма.

А на стене, в углу проступившего рисунка, появилось новое пятно. Круглое, блестящее. Как будто кто-то только что приклеил туда металлический шарик. Часть узора. Часть дома.

Барвара Прокопьевна, стоявшая в дверях с новым подносом, кивнула, как будто, так и должно было быть.

– Ну-вот?! – сказала она удовлетворённо. – Игрушка на место встала. Теперь порядок. Кто ещё хочет пирожков? Там ещё полпротивня. И, кажется, на кухне появилась сметана. Сама. Откуда – не спрашивайте. Но к пирожкам – самое то.

И они снова принялись за пирожки, уже со сметаной. Уже не как за акт протокола, а как за нечто гораздо более важное. Как за ритуал закладки фундамента. Фундамента дома, который строился не из кирпичей, а из моментов. Из вздохов, из смеха, из крошек на столе, из отпечатка детской ладони на экране.

А где-то в толще бетонных стен, в самой структуре реальности, что-то тихо щёлкнуло. Как будто замкнулась цепь. Как будто последний пазл встал на своё место.

И в бункере, хотя снаружи был обычный кубанский будний день, вдруг стало по-настоящему светло. Не от ламп. А от того самого, неуловимого, тёплого свечения, которое бывает только в одном месте на земле.

В родном тёплом доме.

Августа вышла в коридор. За её спиной остались смех, запах пирожков и стук металлического шарика, который уже нашёл своё место в новой реальности. Она остановилась у окна, выходящего во внутренний двор бункера — бетонные стены, чахлое деревце, посаженное прошлым летом. И вдруг подумала: а что, если это деревце — тоже часть узора? Что, если каждая мелочь, которую мы замечаем и лелеем, становится кирпичиком в стене нашего общего мира?

Она закрыла глаза. И перед ней пронеслись все выборы, сделанные ею и её близкими. Ксенофонт, который каждое утро выбирал тишину и гармонию семейного счастья вместо упреков о том, что они застряли в этом бункере. Радаслав, который выбрал не прятаться от своего дара, а принять его. Ерофей и Жужжа, которые выбрали не спасать мир, а спасти свою семью. Августа, которая выбрала верить, что Дима не ушёл, а просто стал другой формой любви. И сами они, все вместе, — выбрали остаться людьми, когда мир вокруг пытался стереть их в пыль.

«Свобода выбора, — подумала Августа, — это не про то, что мы можем выбрать. Это про то, что мы выбираем каждый раз, когда мир говорит: «Сдайся». Мы выбираем не сдаваться. Мы выбираем верить. Мы выбираем ставить чайник, печь пирожки, рисовать на стенах — даже если эти стены — бетон бункера».

Она открыла глаза. В тусклом свете лампы деревце показалось ей чуть зеленее, чем было. На его ветке висел... тот самый металлический шарик. Тот, что исчез в руках Максима Сергеевича. Он мягко покачивался, как будто его только что повесила невидимая рука.

— Спасибо, — прошептала Августа. — За подсказку.

И она вдруг ясно, до дрожи, поняла главное, как поётся в известной песне и поговорке: «Любовь спасёт мир!». Не та любовь, о которой пишут в книгах и снимают фильмы. А та, которая живёт в жесте — в том, как мать поправляет одеяло уснувшему сыну. В том, как муж молча чинит генератор, зная, что его жена сейчас разговаривает с миром, который он не видит. В том, как подросток, боясь собственного дара, всё равно тянется к свету, потому что папа сказал: «Мы вместе.».

Это и есть выбор. Выбор жить так, как будто мир можно удержать только любовью. Потому что, кажется, так оно и есть.

Августа улыбнулась деревцу, шарiku, бетонным стенам — и пошла обратно, к пирожкам, к смеху, к жизни. Потому что любовь спасёт мир. Не когда-нибудь. А прямо сейчас. С каждым пирожком. С каждым вздохом. С каждым выбором.

И она уже делала этот выбор.

Глава 6. Сейф для бабочек, или Алгоритм бабушкин ого варенья

После истории с пирожками и шариком в бункере наступила странная пауза. Не тишина – тишина была бы подозрительной. Скорее, состояние, которое Ерофей Петрович Громов в своём отчёте обозначил как «активная стабилизация фоновых параметров». На человеческом языке это означало: чудеса продолжались, но приобрели системный, почти бюрократический характер.

Но Августа знала: пустота — это не отсутствие. Это ожидание. Как в бункере, где её супруг Ксенофонт, главный инженер, каждое утро проверял системы жизнеобеспечения. Он верил в давление, в герметичность, в показатели кислорода. А она верила в другое: что воздух в этом подземелье держится не на фильтрах, а на любви. На том, что где-то наверху сын Радаслав просыпается и, ещё не открыв глаз, уже слышит то, что не слышат другие. Подросток-медиум. Их мальчик, который начинал день с вопроса: «Мам, а что сегодня снилось дому?» ... Вот, такое вот сочетание видимого и невидимого миром.

Каждое утро в определённом месте у стены – там, где накануне проступил узор чьей-то гостиной – появлялся небольшой предмет. Не украденный, а именно *появившийся*. Как будто его печатали на 3D-принтере из воздуха и ностальгии. В понедельник это была пуговица от морской кители, явно старого образца. Во вторник – засушенный листок клёна, идеально сохранивший осенний багрянец. В среду – кусок мела, того самого, школьного, который крошится в пальцах и пахнет пылью и детством.

– Коллекционирует?! – констатировал Максим Сергеевич, разглядывая мел через увеличительное стекло. – Систематизирует наше прошлое. Создает каталог личных реликвий. Вопрос – зачем?

– Может, для удостоверения личности? – предположила Жоржетта, не отрывая глаз от основного экрана, где теперь постоянно висело то самое изображение – отпечаток детской ладони рядом с чашкой. Оно не менялось, но в его статичности была странная утешительная сила. Как якорь.

– Дима же исчезает из официальных баз данных. А «Самоварчик» ... создает для нас новые. На основе не цифр, а... вот этого. Пуговицы. Листочка клёна. Это новая форма общения между нами... Общения двух миров видимого и невидимого – предположил Радаслав.

Августа смотрела на сына и Жоржетту, вспоминая, как Ксенофонт уходил на ночную смену. Как он стоял в дверях, высокий, чуть сутулый, с вечным запахом машинного масла на руках, и говорил: «Я вернусь. Ты только рисуй! Люблю!». И она рисовала. Потому что знала: его работа внизу — это тоже любовь. Он «держал» бункер в эффективной работоспособности – «держал» видимый мир, чтобы их сын Радаслав мог спокойно спать и видеть сны, полные голосов. А она «держала» небо – невидимый мир, чтобы эти голоса не пугали мальчика. Медиум — это не дар. Это ответственность. И Августа несла её так же, как Ксенофонт нёс вахту у генераторов: не замечая усталости, не жалуясь, просто делая то, что должно.

Августа молчала. Она сидела перед чистым холстом, но кисть в её руке не прикасалась к краскам. Она ждала. Ждала, когда поймёт, *что* именно нужно рисовать. Её инстинкт художника подсказывал, что следующий шаг должен быть не спонтанным, а осознанным. Как если бы человек, что раскрашивал не просто картинку, а чертёж силового поля закрытого режимного объекта.

И тут в ситуацию вмешалась няня Екатерина Семёновна. До сих пор она держалась в тени – тихая, степенная женщина лет шестидесяти шести, чья основная функция заключалась в том, чтобы быть живым мостом между Громовыми и Ефимушкой. Она мало говорила, много вязала (носки для всех обитателей бункера обрели уже легендарную прочность) и всегда знала, когда нужно подлить чаю.

В четверг утром она подошла к тому месту у стены, где должен был появиться новый «экспонат». Положила на пол маленькую круглую салфетку, вышитую крестиком. И поставила на неё стеклянное блюдо с ложкой малинового варенья.

– Екатерина Семёновна, что вы делаете? – удивились Жоржетта и Августа, заявив в один голос.

– Приглашаю к чаю, – просто ответила няня. – Он же старается. Вещички нам показывает, память будит. Это хорошее дело. Но односторонним оно быть не должно. Вот, я и решила – поделюсь чем-то своим. У меня этого варенья с прошлого лета баночка осталась. Ефимушка его просто обожает. И Дмитрий Миронович, когда маленький был, по вашим рассказам Августа Иосифовна, тоже его любил. Только вот, на хлебушке с маслом.

Она говорила о Диме так, будто он не стал частью метафизической аномалии, а просто задержался в соседней комнате. И в этой простой интонации было что-то разрушающее всю сложность ситуации, творящуюся в бункере.

Все замерли, наблюдая. Варенье на блюде лежало густое, тёмно-рубиновое, в нём застыли целые ягоды. Через пятнадцать минут... ничего не произошло. Через полчаса – тоже. Екатерина Семёновна вздохнула, но не убрала угощение.

– Ну, может, не голодный ещё, – философски заметила она и принялась за своё вязание.

А ближе к вечеру, когда в бункере включили основное освещение, все увидели: блюдо пусто. Варенье исчезло. Но не просто испарилось. На салфетке остался след. Не от ложки, а... от маленькой, аккуратной *ладошки*. Словно кто-то очень осторожно, почти благоговейно, тронул сладкую массу кончиками пальцев. А рядом с блюдцем лежал новый предмет.

Это была бабочка. Точнее, её высушенное крыло. Невероятной красоты – с переливом от синего к фиолетовому, будто вырезанное из вечернего неба. Оно было совершенно целым, хрупким, как слюда.

– Морфа аматонте¹, – тихо сказал Ерофей Петрович, наклоняясь. – Южноамериканский вид. На Кубани, нашей – такой вот вид не водится. Собственно, ... её не должно быть здесь в принципе. Ни в каком виде.

– А у Дмитрия в детстве была коллекция, ... – вдруг сказала Екатерина Семёновна, не поднимая глаз от вязания. – ... бабочек. Августа Иосифовна, вы же сами неоднократно рассказывали, что он их ловил сачком, потом осторожно сушил под прессом из старых книг. У него целый альбом был. А это крылышко... оно самое красивое. Он его под стеклом хранил. Вы рассказывали, что он говорил, что оно похоже на кусочек другого мира. Где всё ярче и легче.

В бункере повисла тишина. Густая, осмысленная.

– Обмен?! – наконец произнесла Августа. – Он не просто берёт. Он отдаёт. Он взял варенье – символ вашего тепла, вашей заботы о Ефимушке и... о нём самом когда-то. И дал взамен... кусочек своей коллекции. Часть своего самого сокровенного, детского мира. Дал знать нам, что он здесь.

– Это уже не каталогизация?!, – пробормотал Максим Сергеевич. – Это... коммуникация. Установление протоколов обмена. Бартерная система, где валюта – личные смыслы.

¹ **Морфо аматонте** (*Morpho amathonte*) — бабочка из семейства Nymphalidae, относящаяся к подсемейству Морфид. Некоторые авторы рассматривают её как подвид *Morpho menelaus*.

– А почему бабочка? – спросила Жоржетта, глядя на хрупкое крыло. – Почему не ещё одна пуговица или камень?

Августа медленно подошла к холсту. Теперь она знала, что рисовать.

– Потому что бабочка – это метаморфоза?! – сказала она, беря кисть и начиная смешивать на палитре оттенки синего и фиолетового. – Гусеница становится коконом. Кокон становится чем-то совершенно иным – красивым, лёгким, способным летать. Но чтобы это произошло, нужна тишина. Нужна темнота. Нужно время. И огромное, невероятное терпение.

Она нанесла первый мазок на холст.

– Дима не просто стал «меж-пространственной щелью». Он проходит свою метаморфозу. Из человека – во что-то другое. И он показывает нам: процесс идёт. Он болезненный, он странный, но он ведёт к... пере-настройке систем. К чему-то новому.

Под её кистью на холсте начал проступать не домовый. И даже не бабочка. Это был... *кокон*. Но не простой. Он был сплетён не из шёлка, а из тончайших, едва заметных линий – как схемы на чертежах, как строки кода, как трещинки на старом фарфоре. И сквозь полупрозрачную оболочку угадывался силуэт. Человеческий. И детский. Два силуэта, сливающиеся в один.

– Он строит не просто пространство, ... – продолжала Августа, и её голос звучал теперь с новой, обретенной уверенностью. – Он строит *инкубатор*. Для себя. И, возможно, для... – она взглянула на Жужжу, – ... для всех нас. Место, где можно пережить перемену, сохранившись. Где можно стать чем-то большим, оставшись самим собой.

В этот момент зазвонил прямой телефон – не внутренний, а тот самый, «правительственный» канал.

Все вздрогнули.

Громов взял трубку, выслушал и побледнел.

– Понял. – сказал он коротко. Положил трубку. Овернулся к остальным. – Это был... формальный запрос. Из совсем других инстанций. Не МВД, не ФСБ. Что-то... вроде комитета по метафизической безопасности. Они знают про «артефакты». Про исчезновение данных. Они спрашивают, ... – он сглотнул, – ... спрашивают, нужна ли нам «помощь в локализации и ликвидации аномального объекта».

В воздухе запахло не вареньем, а холодным официальным формализмом. Тем самым, что способен превратить чудо в «инцидент», а их нового домового – в «цель для устранения».

Кроме того, также где-то в недрах пространства бункера Ксенофонт принимал жену, всю без остатка, как она есть, и думал: достаточно ли? Он знал, что сын слышит то, что не должны слышать подростки. Что Августа видит то, от чего хочется закрыть глаза. Что он, главный инженер пространства бункера, уже третьи сутки не поднимается наверх, потому что система даёт сбои, а он держит её на честном слове и на голых проводах. И всё это — одна семья. Один бункер. Одна любовь, которая не укладывается ни в какие инструкции. Ксенофонт вдруг понял: спасение не в приказах. Спасение — в выборе. Каждое утро они выбирают: остаться людьми или стать функциями. И пока они выбирают друг друга — мир держится.

– Что будем делать? – тихо спросила Жоржетта.

– Отвечать, конечно же. – сказала Августа, не отрываясь от картины. Кисть в её руке двигалась быстрее, увереннее. Она дорисовывала кокон, и теперь в его узоре можно было разглядеть знакомые мотивы: завитки как на вышитой салфетке Екатерины Семёновны, квадратики как на вязаных носках, пятнышки как на крыле бабочки.

– Отвечать? Как? – уточнил Максим Сергеевич. – Формой 7-Б? Рапортом о несуществующем объекте?

– Нет, разумеется. – Августа отложила кисть и подошла к столу. Она взяла блокнот и ручку. – Будем отвечать по их же правилам. Но на своём языке. Ерофей Петрович, вы свяжетесь с ними снова. И передадите следующее.

Она начала писать текст, подойдя к компьютеру: «Объект не является аномалией. Объект является *наследственным имуществом* в процессе реорганизации. Процесс контролируется наследниками. Угрозы стабильности не представляет. Напротив, демонстрирует признаки повышения структурной целостности окружающего пространства. Запрос на внешнее вмешательство отклонён как преждевременный и несоответствующий интересам законных владельцев».

Максим Сергеевич смотрел на неё с возрастающим восхищением и ужасом.

– Вы... вы предлагаете оформить его как недвижимость? Со всеми вытекающими правами собственности и наследования?

– А почему нет? – Августа улыбнулась. Её улыбка была тёплой, но в глазах горел стальной огонёк «Скучной тётки», которая вдруг вспомнила, что она не только художник, но и сестра инженера-подводника, прошедшая через ад бюрократии после гибели брата.

– Если он строит дом – у этого дома должны быть хозяева. И законы. Наши законы. Закон гостеприимства. Закон памяти. Закон варенья на блюдечке. И если кто-то хочет войти в этот дом с проверкой – пусть сначала докажет, что он не сломает хрупкое крыло бабочки. И, так сказать, не прольёт чай.

Генерал Громов медленно кивнул. В его взгляде читалось профессиональное признание мастерства.

– Это... беспрецедентно. Юридически вязко и абсолютно гениально. Они будут месяц разбираться в формулировках.

– У нас есть месяц, это здорово?! – сказала Августа. – А за месяц кокон может раскрыться.

Она вернулась к картине. На холсте кокон был почти готов. И теперь, приглядевшись, можно было заметить: из него, сквозь трещинки в причудливом узоре, пробивался мягкий, золотистый свет. Как свет настольной лампы в тёмной комнате, где ребёнок рассматривает свою коллекцию сокровищ.

На столе рядом с компьютером Радаслав поставил новое блюдечко. На этот раз с мёдом. И положил рядом маленькую, потрёпанную книжку – детские стихи Агнии Барто.

– Для чтения перед сном, ... – пояснил он. – Вдруг захочет поностальгировать.

И все поняли: осада смыслом, если она и начнётся, встретит не просто сопротивление. Она встретит *гостеприимный дом*. Где каждому пришедшему с дурными намерениями сначала вежливо предложат чаю, потом покажут альбом с бабочками, потом расскажут историю

про каждую пуговицу в коллекции. И только потом, когда непрошенный гость запутается в паутине этих маленьких, тёплых, человеческих смыслов, ему мягко объяснят, что стрелять здесь нельзя. Потому что можно разбить блюдечко. А оно – семейное.

Бункер переставал быть бункером. Он становился именно тем, о чём говорил Дима в своих старых записях: «Матрицей». Но не холодной цифровой. А тёплой, биологической, *семейной* матрицей. Где каждый член команды был живой клеткой, а связи между ними – нейронными путями. И эта огромная, тихая, любящая сущность потихоньку училась говорить на языке варенья, бабочек и вышитых салфеток.

А где-то в глубине стен, в самом сердце пространства инкубатора, два силуэта в коконе – взрослый и новый-меж-пространственный – медленно, неостановимо двигались навстречу друг другу. Готовясь к тому дню, когда ткань реальности окончательно истончится, и они выйдут наружу. Не как призраки. А как хозяева после перерождения, после метаморфозы.

Новые. Старые. Домашние. Свои.

Августа выключила экран монитора компьютера. В комнате было тихо. Где-то внизу, за толщей бетона, Ксенофонт пил остывший чай и слушал, как гудят генераторы. Он знал: если прислушаться, в этом гуде можно различить присутствие Августы. Она всегда с ним — даже когда этажи разделяют их. Она — его связь с миром, где есть свет, воздух, супруга и их сын, которые слышат невидимое в видимом мире.

Радаслав сидел на кровати и смотрел в стену. Он слышал их всех. И маму, и папу, и тетюшку Жоржетту наверху. И нового домового. Домовой молчал, но его молчание было теплее любых слов.

— Любовь, — прошептал Радаслав, не зная, кому это говорит. — Это единственное, что нельзя стереть. Даже если исчезнут все файлы.

Августа, стоя за дверью его комнаты, улыбнулась. Она не вошла — мальчику нужно было привыкнуть к своему дару. Но она была рядом. Как и Ксенофонт — где-то глубоко внизу, сжимая в руке старый ключ от их первой квартиры, как талисман. Как и все те, кто выбрал любовь, когда можно было выбрать только выживание.

— Свобода выбора, ... — сказала она тишине, самой себе, тихо-тихо под нос — ... это право любить даже тогда, когда мир требует нечто иное.

Она закрыла глаза и увидела, как из центра пустого экрана прорастает тонкий золотой стебель. Он тянулся вверх, сквозь бетон, сквозь этажи, сквозь забвение — к свету, которого никто не видел, но который все чувствовали.

«Любовь спасет мир.» - снова пронеслась мысль в её голове. Не потому, что это красивая фраза. А потому, что это единственный выбор, который не требует подтверждения. Он просто есть. Как воздух. Как гул генераторов. Как голос сына, который слышит больше, чем должен, и полон храбрости духа.

Потому что он знает: мама рядом. И папа — этажом ниже, у пульта. И новый домовый — уже рядом. И все они выбрали друг друга. Они вместе. Они команда. Они семья.

Глава 7. Архипелаг связей, или Синдром спутанных проводов

На следующее утро бункер проснулся от запаха свежего хлеба. Не того, что пекли в микроволновке, а настоящего – с хрустящей корочкой, маслянистым блеском и тонким ароматом

тмина и кориандра, который, как известно, на Кубани не растёт, а если и растёт, то исключительно в воспоминаниях бабушек.

– Радаслав? – сонно спросила Жоржетта, плавно входя в комнату, словно вползая, в комнату общего штаба. – Ты испёк хлеб?

– Нет. – ответил подросток, стоя над столом и с удивлением разглядывая румяную буханку на деревянной доске. – Я только что проснулся. И нашёл это. Рядом с блюдцем от варенья.

– Опять? – Максим Сергеевич уже был на ногах, с блокнотом наперевес и очками на лбу. Он напоминал профессора, которого разбудили ради сенсации, и профессор не разочаровался. – Второй случай прямого материального обмена! Систематизируем: на предложение мёда и книги стихов объект ответил... хлебом. Не батоном, а именно домашним, формованным. Заметьте – без плесени, без признаков длительного хранения. Температура – как будто только из печи.

– А какая у нас печь? – задумчиво спросила Августа, разглядывая буханку. – У нас тут собственно нет нормальной даже духовки. Только микроволновка и индукционная плита.

– Вот, именно! – Максим Сергеевич воздел палец к потолку. – Эта буханка не могла быть испечена в радиусе, как минимум, пяти километров от нас в физическом смысле. Но она здесь. И она пахнет... – он принялся, – пахнет детством. Конкретно моим детством. Бабушка Агафья пекла точно такой же хлеб. Я узнаю этот тмин.

– И моего детства, – тихо сказал Радаслав. – У нас в деревне у бабушки тоже так пекли. С кориандром. И с секретом, бабушка мне его рассказала: перед тем, как ставить в печь, сбрызгивала водой и трижды мысленно целовала, как родного человека. Рождённое в печи не просто пеклось, а словно ... живое становилось.

Августа медленно провела пальцем по корочке. Хлеб был тёплым, упругим, и от него исходило не просто тепло – казалось, от него исходил *звук*. Очень тихий, почти на грани слышимости, похожий на гудение старого холодильника или на мурлыканье кота. Или на басовитую ноту морского ревуна. Она отдернула руку.

– А что, если..., – начала она и замолчала, потому что мысль была слишком странной, чтобы её высказывать вслух. Но всё же высказала, ... – Что, если это не просто обмен. Что, если он... учится у нас? Не просто берёт и отдаёт. А перенимает. Впитывает то, что мы считаем важным. И воспроизводит это. Сначала пуговица – память. Потом бабочка – красота и уязвимость. Теперь хлеб – умение создавать что-то нужное, питательное, тёплое. Он не просто копит артефакты. Он осваивает... профессии. Ремёсла. Способы быть человеком.

– Тогда он скоро начнёт вязать носки, – хмыкнул Ксенафонт, который как раз продевал шнурок в ботинок, и в этом обыденном жесте было что-то отрезвляюще-реальное.

Августа не улыбнулась. Она смотрела на стены бункера. На бетон, который под слоем краски (она сама же его и покрасила, чтобы скрасить серость) начал проступать иным рисунком. Она заметила это ещё вчера – но решила, что ей кажется. Теперь было очевидно: стены *меняли текстуру*. В некоторых местах бетон становился похож на старые деревянные панели, в других – на обои с мелким цветочным узором. Как будто кто-то методично, участок за участком, переклеивал реальность, подгоняя её под некий идеал уютного жилья.

– Он строит дом! – сказала она вслух. – Изнутри. Он берёт наши воспоминания – пуговицу, бабочку, хлеб – и использует их как строительные блоки. Мы передали ему кусочек

реальности, когда поставили блюдце с вареньем. Он принял правила игры. И теперь... расширяет пространство.

Все уставились на стены. И тут Жужжа, которая с самого утра не сводила глаз с экрана, где спал Ефимушка, вдруг ахнула.

– Мама... – прошептала она. – Посмотрите.

На экране, в комнате, где спал Ефимушка, происходило нечто странное. Мальчик лежал в своей кроватке, мирно посапывая, но *стена за его спиной...* менялась. Обои с мишками, которые Жужжа собственноручно клеила в прошлом году, на глазах превращались в другой рисунок. Мишки не исчезали, но... *оживали*. Один из них подмигнул Ефимушке. Второй, самый большой, вытянул лапу и прижал её к губам – «тсс». И над кроваткой медленно, как снежинка, опустилось... крыло бабочки. То самое, сине-фиолетовое, которое лежало сейчас в бункере, накрытое стеклянной банкой. Упало Ефимушке на одеяло. Мальчик, не просыпаясь, сжал его в кулачке и улыбнулся.

Наступила тишина. Такая плотная, что слышно было, как гудит лампа дневного света.

– Он дотягивается до него, – выдохнула Августа. – Он не просто строит дом для себя. Он... обустроивает мир для *всех нас*. Для тех, кого любил. Ефимушка – его словно названный двоюродный братец, он также меж-пространственно юн, как и он. Кровь. Связь. Он защищает его. Сделал его комнату частью своей... своей новой территории.

– Но это же прямое физическое воздействие на внешний мир! – воскликнул Максим Сергеевич, но в голосе его слышался не ужас, а восторг первооткрывателя. – Мы только что стали свидетелями переноса материального объекта сквозь, по сути, ткань жития-бытия. На глазах. И все живы и здоровы! И даже ребёнок не проснулся!

– А чего ему просыпаться? – резонно заметила Жоржетта. – Он у себя дома. Под защитой своей няни Екатерины Семёновны. У него няня лучшая из лучших – она за ним присматривает. И дядька – домовый прежний или новый, пусть и невидимый, но тоже есть. Хороший дядюшка, хоть и призрак. Я давно уже поняла, что он добрый.

– Откуда вы знаете? – не выдержал Максим Сергеевич.

– А вы попробуйте испечь хлеб, который так вкусно и с добром пахнет чужим детством?! – твёрдо сказал Радаслав.

– Если бы он был злым, он бы нас пугал. А он нас... кормит. И укрывает. Значит, душа у него не болит, а любит. Всё просто. – подхватил Ксенофонт.

– Ничего не просто, ... – вздохнул генерал Громов. Но вздохнул он скорее с облегчением. – Теперь в отчёте придётся писать: «Объект демонстрирует признаки сентиментальной привязанности и имеет доступ к спящим детям». Это разнесёт любую официальную комиссию в клочья. У них нет формы для таких данных.

– Значит, будем учить их новым формам!? – сказала Августа. – Но сначала – давайте зафиксируем, что мы знаем.

Она подошла к столу, взяла синий блокнот – тот самый, который нашла в вещах Димы – и раскрыла его. Страницы были исписаны мелким, аккуратным почерком. Но не на русском. И не на каком-либо известном языке. Это были *схемы*. Сети. Связи. Кружочки, соединённые линиями. В центре – большой круг, подписанный карандашом: «Бункер/Дом». От него расходились линии – к кружочку «Жужжа/Ефим», к кружочку «Катя/няня», к кружочку «Макс/юрист», к кружочку «Ерофей/безопасность». И к одному, самому маленькому, подписанному просто: «Ксенофонт/паруса». Сердце Августы сжалось.

– Это карта связей, – поняла она. – Он нарисовал... нашу семью. Расширенную. Он знает про нас всех. Про то, что я думаю о своем Ксенофонте. Про то, что Жужжа любит сына. Про то, что Максим Сергеевич боится за свою карьеру. Он всё это... учитывает. Видит. И строит щит вокруг каждого.

– Щит или клетку? – насторожился генерал Максим Сергеевич.

– Дом! – поправил его Ксенофонт.

– Да-да. – продолжил Радаслав, немного задумался, закрыл глаза, словно прислушиваясь к своим ощущениям. – Он строит Дом. Большой. На всех. Где каждый – это комната. Со своими окнами, дверями и, – он улыбнулся, – с запахом свежего хлеба по утрам.

В этот момент телефон Жужжи завибрировал. Она взглянула на экран – и ахнула. Пришло сообщение. От... Ефимушки? Мальчик ещё не умел писать. Но на экране светилась фотография: маленькая рука, сжимающая крыло бабочки, и подпись, сделанная явно вовсе не их двухлетним ребёнком, но и не взрослым – скорее, существом, которое только учится складывать буквы в слова:

«СПАСИБО ЗА МАЛИНУ. ТУТ ТЕПЛО. Я ВАС ВИЖУ. ВСЕХ. СКОРО ВЫЙДУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ. КАК ТОЛЬКО МЕТАМОРФОЗА ЗАВЕРШИТСЯ».

Жужжа заплакала. Ерофей Петрович перекрестился. Максим Сергеевич выронил блокнот. Ксенофонт, который видел за свою жизнь много странного, просто сел на стул и уставился на сообщение.

Августа же взяла телефон, перечитала сообщение вслух. И улыбнулась.

– Выйдет познакомиться, – повторил Радаслав. – Значит, он ещё не закончил метаморфозу. Значит, есть надежда, что он выйдет... другим. Но главное – живым. И помнящим. И любящим.

Августа положила телефон рядом с блюдцем с мёдом, которое так и стояло на столе.

– Мы приготовим чай. К приходу гостя из будущего.

– Он знает, что мы здесь, – прошептала Жужжа, всё ещё глядя на экран, где спал её сын, сжимая в руке крыло бабочки. – Он построил нам мост. Через всё это небытие. Через исчезнувшие документы, через стёртые базы данных, через бюрократию, которая отрицает само его существование. Он построил мост... из малинового варенья.

– Да, верно. – сказала Августа, садясь за стол и принимаясь зарисовывать в синий блокнот новую схему – в центре которой был уже не просто бункер, а *архипелаг их нового видимого пространства из невидимого мира меж-пространственной щели*. Маленькие островки-дома, соединённые пунктирными линиями – невидимыми мостами. Мурманск, Питер, Краснодар, и где-то далеко, у самого края листа, маяк и старая подводная лодка. – Архипелаг связей. Мы не одни. Мы – сеть. И эту сеть не разорвать, потому что она держится не на документах, а на том, что нельзя подделать. На любви.

Она поставила точку в конце предложения. И все услышали, как где-то в стенах, в самой толще метафизической плоти нового рождающегося Дома, зазвучала мелодия. Старая, знакомая – колыбельная «Спят усталые игрушки». Только вместо «книжки спят» кто-то тихо напевал: «Люди спят, и мыши спят, только дом не спит. Он растёт, он ждёт гостей, он огнём любви горит, приглашая жить и быть...».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.